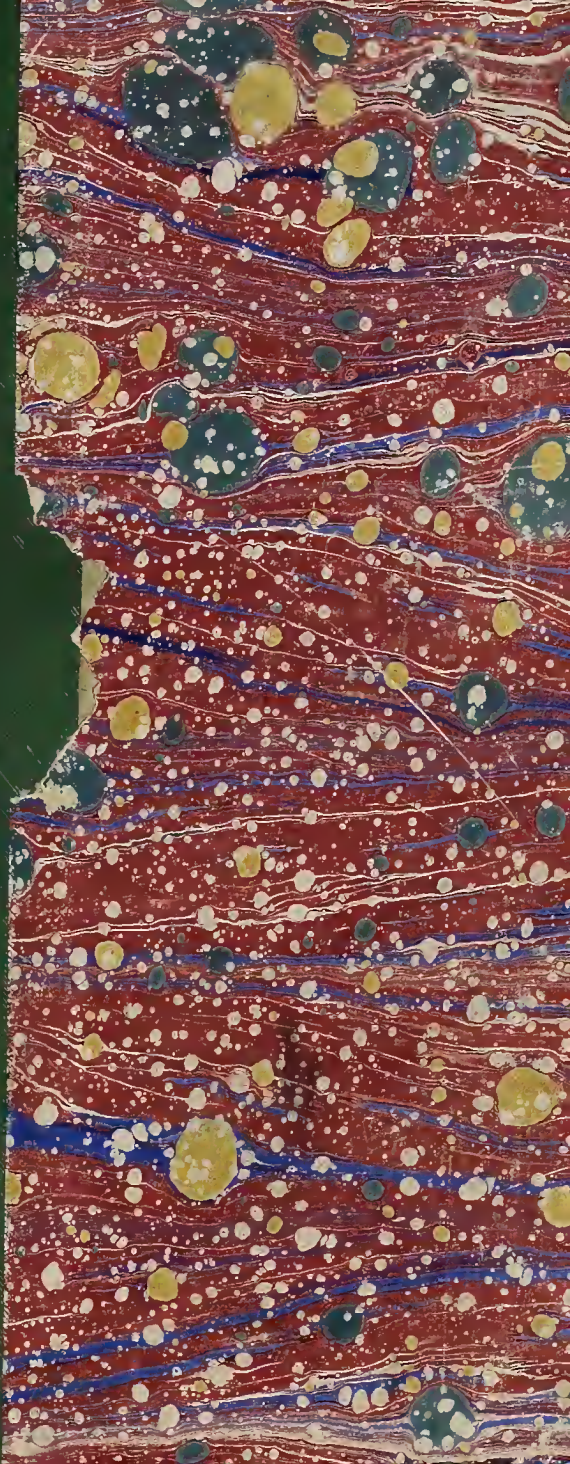


PG
3415
.P5
T747
1889



DUKE
UNIVERSITY



LIBRARY

115?

ПРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФІЯ

Г Р А Ф А

Л. Н. ТОЛСТАГО.

Князя Д. Н. Цертелева.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи.
1889.

LIBRARY OF CONGRESS
DUPLICATE EXCHANGE

Дозволено цензурой. Москва, 24 июня 1889 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Субъективность графа Толстаго какъ мыслителя. — Его взглядъ на нравственную философію.	3
II. Взглядъ графа Л. Н. Толстаго на положительныя науки и его отношеніе къ позитивизму и дарвинизму.	16
III. Законъ Мальтуса и законъ раздѣленія труда	26
IV. Опредѣленіе и критика понятія собственности графа Толстаго	46
V. Богатство и бѣдность. — Благотворительность частная и общественная. — Попытка графа Толстаго во время переша; причины ея неудачи	59
VI. Физическій трудъ какъ нравственная обязанность и какъ необходимое условіе счастья. — Смѣшеніе понятій средства и цѣли въ теоріи графа Л. Н. Толстаго	88

VII Графъ Л. Н. Толстой и Ж.-Ж. Руссо; тождество ихъ основныхъ положеній.— Утилитарное отношеніе къ наукамъ и искусствамъ; цивилизація какъ источ- никъ неравенства. - Отрицательное от- ношеніе къ собственности. -- Противо- рѣчіе между теоріей графа Толстаго и его творчествомъ	124
---	-----

I.

Субъективность графа Толстаго какъ мыслителя.—Его взглядъ на нравственную философію.

Въ исторіи человѣческой мысли мы встрѣчаемся съ двумя родами талантовъ; одни въ своихъ произведеніяхъ, совершенно отрекшись отъ личныхъ стремленій, симпатій и антипатій, вполне погружаются въ отвлеченное мышленіе или въ созерцаніе воспроизводимыхъ ими образовъ,—въ твореніяхъ другихъ отражается не только ихъ умъ, наблюдательность и творческая фантазія, но и вся ихъ нравственная личность.

Прочитавъ *Метафизическія размышленія* Декарта, *Этику* Спинозы или *Критику чистаго разума* Канта и не имѣя никакихъ біографическихъ свѣдѣній объ авторахъ, трудно, если не вполне невозможно, составить себѣ представленіе о нихъ; то же самое можно сказать о большей части произведеній

1*

583369

Шекспира, Гёте или Пушкина; но стоить назвать Руссо, Байрона или Лермонтова, и рядомъ съ отвлеченно-философскимъ и чисто поэтическимъ значеніемъ представляемымъ этими именами сразу вырисовывается личность авторовъ, хотя бы мы не имѣли никакого понятія объ ихъ біографіи. Въ этомъ состоитъ различіе мыслителей и художниковъ субъективныхъ отъ объективныхъ, различіе, которое, разумѣется, не можетъ быть точно опредѣлено и доказано, но которое сразу чувствуется и обуславливаетъ совершенно различное впечатлѣніе и настроеніе читателя.

Къ какой же изъ двухъ категорій должны мы отнести талантъ графа Л. Н. Толстаго?

Какъ *художникъ*, онъ несомнѣнно принадлежитъ къ числу самыхъ *объективныхъ* писателей; тонкій и глубокій психологическій анализъ, позволяющій ему проникать въ душу самыхъ разнородныхъ изображаемыхъ имъ типовъ, позволяетъ намъ видѣть ихъ предъ собою живыми, и личность автора ни на во-
лось не измѣняетъ ихъ очертаній и не

придаетъ имъ ни малѣйшаго посторонняго оттѣнка.

Какъ писатель-моралистъ, графъ Толстой, наоборотъ, принадлежитъ къ числу самыхъ *субъективныхъ* мыслителей, и въ этомъ его сила и его слабость.

Истина одна, но способы выраженія и доказательства ея могутъ быть весьма разнообразны. Тамъ гдѣ нужно передать только отвлеченное знаніе, цѣль достигается тѣмъ лучше, чѣмъ меньше постороннихъ примѣсей въ этой передачѣ и, слѣдовательно, чѣмъ полнѣе объективность; то же самое и еще въ большей мѣрѣ относится къ первоначальному изысканію истины. Въ такомъ изысканіи малѣйшая примѣсь личной воли нерѣдко предрѣшаетъ вопросъ и дѣлаетъ напрасными всѣ дальнѣйшія усилія изслѣдователя, показывая ему въ природѣ и въ мысляхъ не то что дѣйствительно есть, а то что онъ хочетъ въ нихъ видѣть.

Совершенно другое дѣло передача уже найденныхъ истинъ, особенно истинъ нравственнаго порядка.

Здѣсь важна не столько точность до-

казательства, сколько его убѣдительность, и самая неточная аргументація, если она производитъ впечатлѣніе на слушателей, достигаетъ своей цѣли лучше чѣмъ неопровержимое научное изслѣдованіе, котораго слушатели не могутъ понять или не имѣютъ терпѣнія дослушать. Но въ подобныхъ случаяхъ главное условіе убѣдительности — это собственное убѣжденіе, горячность и искренность, неизбѣжно связанныя съ нѣкоторою субъективностью. Проповѣднику приходится имѣть дѣло не столько съ разумомъ, сколько съ волей его слушателей, а потому и въ немъ самомъ первое мѣсто занимаетъ чувство, а не отвлеченное мышленіе.

Та сила, та искренность и та художественная правда съ которою высказываются графомъ Л. Н. Толстымъ простѣйшія нравственныя истины, нерѣдко забываемыя и заслоняемыя засасывающимъ теченіемъ жизни, вотъ причина глубокаго впечатлѣнія которое вызвали во многихъ его послѣднія произведенія.

Но какъ ни благотворно для обще-

ства въ этомъ отношеніи могло бы быть ученіе графа Толстаго, оно не свободно отъ нѣкоторой посторонней примѣси, освобожденіе отъ которой могло бы только усилить его значеніе.

Одно дѣло нравственный законъ, составляющій идеаль Человѣческихъ дѣйствій, другое—право и законъ положительный, обуславливающій возможность дѣйствительнаго существованія громаднаго большинства людей. Конечно, достиженіе нравственнаго идеала было бы осуществленіемъ задачи Человѣчества, но даже того кто вѣритъ въ возможность достиженія этого идеала на землѣ, такая вѣра не должна заставлять проходить молчаніемъ или относиться отрицательно къ тѣмъ звеньямъ которыя связываютъ настоящую несовершенную дѣйствительность съ желаннымъ идеаломъ.

Положительный законъ есть только болѣе или менѣе точное и удачное выраженіе закона нравственности на низшей его ступени, то-есть на ступени права. Законъ этотъ предъявляетъ къ Человѣку только требованіе отрицатель-

ное—никому не вредить. Если этимъ требованіемъ далеко не исчерпывается высшая заповѣдь любви, то оно во всякомъ случаѣ ею предполагается. Если положительнымъ законодательствомъ не достигается цѣль его, то можно критиковать только недостаточность избираемыхъ имъ средствъ, а не самую цѣль.

Между тѣмъ въ нравственной теоріи графа Толстаго господствуетъ полное смѣшеніе области права и высшей нравственности основанной на любви. Возьмемъ примѣръ: Обязанность отдать человѣку рожь которую я взялъ у него взаймы для посѣва, и обязанность дать ему эту рожь если онъ нуждается въ ней, вещи весьма различныя, и каждый чувствуетъ эту разницу. Обязанность богатыхъ раздать имѣнье свое нищимъ и обязанность платить извѣстную часть своихъ доходовъ на общественныя нужды тоже весьма различны.

Справедливо что право поглащается заповѣдью любви, но до тѣхъ поръ пока любовь не царить безраздѣльно, право по крайней мѣрѣ ограждаетъ человека отъ злобы его ближняго. Если

же между закономъ любви и закономъ права является противорѣчіе, оно можетъ быть только случайное и кажущееся.

Допустимъ что кто-нибудь, пользуясь своимъ правомъ, совершаетъ жестокость и такимъ образомъ нарушаетъ законъ любви, ясно что истинная причина жестокости лежитъ здѣсь не въ правѣ, а въ злой волѣ. Могутъ сказать на это что еслибы не было права, то не могло бы быть и жестокости; но при этомъ забываютъ что еслибы не было никакого права, оставалась бы все-таки *сила*, которая при злой волѣ, не зная уже никакихъ правовыхъ стѣновеній, надѣлала бы несравненно болѣе зла чѣмъ тогда, когда она ограничена правовыми нормами, злоупотреблять которыми можетъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Изъ несомнѣннаго фактическаго существованія зла въ природѣ и въ обществѣ вытекаетъ необходимость огражденія отъ этого зла, необходимость борьбы съ нимъ: это главная задача законодательства, главная

обязанность государственныхъ учреждений и должностныхъ лицъ; такимъ образомъ охрана права составляетъ первую цѣль государственной дѣятельности.

Если высшее требованіе нравственности для частныхъ лицъ есть любовь къ ближнему, высшее требованіе государственной нравственности есть справедливость. Любовь имѣетъ множество степеней, и нѣтъ высшей любви какъ та которая выражается въ самопожертвованіи. Справедливость, наоборотъ, степеней не имѣетъ, и нѣтъ средины между справедливымъ и несправедливымъ. Въ дѣлахъ общественныхъ замѣнить справедливость любовью невозможно, потому что справедливость состоитъ въ безпристрастномъ и точномъ разграниченіи правъ отдѣльныхъ лицъ, а любовь, проявляясь въ пользу одного, неизбежно оказалась бы во вредъ другому.

Въ основаніи всякаго права лежитъ понятіе о человѣческой личности, какъ о свободномъ индивидуумѣ, понятіе настолько опредѣленное что изъ него могла выработаться система римскаго

права и на него болѣе или менѣе сознательно опираются всѣ юридическія науки.

Совершенно другое дѣло нравственный законъ любви, который не поддается никакой ясной формуловкѣ, потому что любовь есть чувство, а не понятіе. Поэтому, строго говоря, *предписывать* любовь невозможно, такъ какъ отъ людей зависятъ только ихъ дѣйствія, а не ихъ чувства. Если же подъ предписаніемъ любви разумѣть предписаніе не чувствовать, а только *дѣйствовать* такъ какъ мы дѣйствовали бы *еслибы* любили, то является вопросъ, какъ узнать это тамъ гдѣ дѣйствительной любви нѣтъ? Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ моралисты съ глубочайшей древности и до нашего времени сходятся въ томъ что основаніе нравственности есть любовь. Но какъ сообщить, какъ зажечь эту искру любви тамъ гдѣ нѣтъ ея?

„Меня всегда удивляютъ, говоритъ графъ Толстой, часто повторяемые слова: да это такъ по теоріи, но на практикѣ-то какъ? Точно какъ будто теорія это—какія-то хорошія слова, нужныя для

разговора, но не для того чтобы вся практика, то-есть вся дѣятельность неизбѣжно основывалась на ней. Должно-быть было на свѣтѣ ужасно много глупыхъ теорій, если вошло въ употребленіе такое удивительное разсужденіе. Теорія вѣдь это то что человѣкъ думаетъ о предметѣ, а практика то что онъ дѣлаетъ. Какъ же можетъ быть чтобы человѣкъ думалъ что надо дѣлать такъ, а дѣлалъ бы навыворотъ?“

„Я понялъ, говоритъ онъ далѣе, въ сущности только то что я зналъ давнымъ-давно, ту истину которая передавалась людямъ съ самыхъ древнихъ временъ и Буддой, и Исаіей, и Лаотзи, и Сократомъ, и особенно ясно и несомнѣнно передана намъ Іисусомъ Христомъ и предшественникомъ его Іоанномъ Крестителемъ. Іоаннъ Креститель на вопросъ людей: что намъ дѣлать? отвѣчалъ просто, коротко и ясно: у кого двѣ одежды, тотъ дай тому у кого нѣтъ и у кого есть пища дѣлай то же (Луки III, 10, 11). То же и еще съ большею ясностью говорилъ Христосъ. Онъ говорилъ: блаженнѣиши и

горе богатымъ. Онъ говорилъ что нельзя служить Богу и мамонѣ. Онъ запретилъ ученикамъ брать не только деньги, но и двѣ одежды. Онъ сказалъ богатому юношѣ что онъ не можетъ войти въ царство Божіе, потому что онъ богатъ, и что легче войти верблюду въ ушко иглы, чѣмъ богатому въ царство Божіе.“

Насколько увлекается графъ Толстой своею мыслью видно изъ того что онъ придаетъ словамъ Евангелія совершенно иной смыслъ нежели тотъ который они имѣютъ для всякаго читающаго ихъ безъ предубѣжденія. На вопросъ богатаго юноши: „Учитель благій! что сдѣлать мнѣ должно чтобъ имѣть жизнь вѣчную?“ Христосъ отвѣчаетъ: „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную соблюди заповѣди“ (Матѳея 16, 17). И только на вторичный вопросъ: „Все это сохранялъ я отъ юности моей, что еще не достаетъ мнѣ?“ Іисусъ сказалъ ему: „если хочешь быть совершеннымъ, поди, продай имѣніе твое, и раздай нищимъ; и будешь имѣть сокровище на небесахъ; и приходи и слѣдуй за мною“.

Правда, далѣ Іисусъ говоритъ ученикамъ своимъ: „истинно говорю вамъ что *трудно* богатому войти въ царство небесное“, и употребляетъ сравненіе которое заставляетъ учениковъ его изумиться и сказать: „такъ кто же можетъ спастись?“ но на вопросъ этотъ. вмѣсто того чтобъ отвѣтить „неимущіе“, какъ это было бы неизбѣжно, еслибы главнымъ препятствіемъ ко спасенію было богатство, Христосъ говоритъ: „человѣкамъ это невозможно, Богу же все возможно“ (Матѳ. 19, 20).

Но допустимъ даже что смыслъ евангельскаго ученія дѣйствительно таковъ какимъ его представляетъ графъ Толстой: въ требованіи раздать имущество нищимъ есть двѣ стороны, и необходимо уяснить себѣ что стоитъ на первомъ планѣ—благо ли дающаго или благо тому которому даютъ. Въ послѣднемъ случаѣ, раздача имущества является простою благотворительностью, а въ первомъ, наоборотъ, имѣется въ виду отреченіе отъ благъ жизни—аскетизмъ; одна изъ этихъ точекъ зрѣнія не исключается другою, но та или другая неиз-

бѣжно, выдвигаясь впередъ, подчиняетъ себѣ другую. Въ данномъ случаѣ на первомъ планѣ стоитъ несомнѣнно мораль аскетическая.

Съ точки зрѣнія общественной матеріальной благотворительности несомнѣнно что человѣкъ расходующій въ теченіе всей своей жизни доходы свои на добрыя дѣла можетъ сдѣлать больше чѣмъ раздавъ одинъ разъ все свое имущество, такъ чтобы самому нуждаться въ благотворительности. Совсѣмъ иное дѣло съ точки зрѣнія аскетической; но мораль аскетизма можетъ покоиться только на религіозныхъ, мистическихъ основахъ, совершенно чуждыхъ общему міровоззрѣнію графа Толстаго: для него и въ самой религіи на первомъ планѣ стоитъ не догматическая, а преимущественно практически нравственная ея сторона.

II.

Взглядъ графа Л. Н. Толстаго на положительныя науки и его отношеніе къ позитивизму и дарвинизму.

„Мы всё привыкли думать, говорить графъ Толстой, что нравственное ученье есть самая пошлая и скучная вещь, въ которой не можетъ быть ничего новаго и интереснаго, а между тѣмъ вся жизнь человѣческая со всёми столь сложными и разнообразными кажушимися независимыми отъ нравственности дѣятельностями,—и государственная, и научная, и художественная, и торговая, — не имѣетъ другой цѣли, какъ большее уясненіе, утвержденіе, упрощеніе и общедоступность нравственной истины... Только *кажется* что человечество занято торговлей, договорамъ, войнамъ, науками, искусствами: одно дѣло только для него важно и одно только дѣло оно дѣлаетъ—оно уясняетъ себѣ тѣ нравственные законы которыми оно живетъ.“

Этимъ значеніемъ нравственныхъ законовъ въ человѣческой жизни опредѣляется, по мнѣнію графа Толстаго, также истинное назначеніе науки, большею частію совершенно позабытое въ наше время. „Человѣчество жило, жило и никогда не жило безъ науки о томъ въ чемъ назначеніе и благо людей; правда что наука о благѣ людей для поверхностнаго наблюденія кажется различною у Буддистовъ, Браминъ, Евреевъ, Христіанъ, Конфуціанцевъ, Тусистовъ, но все-таки гдѣ мы знаемъ людей вышедшихъ изъ дикаго состоянія, мы находимъ эту науку; и вдругъ оказывается что люди нашего времени рѣшили что эта-то самая наука, до сихъ поръ бывшая руководительницей всѣхъ человѣческихъ знаній, она-то и мѣшаетъ всему. Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ человѣчество, всегда у всѣхъ народовъ являлись учителя составлявшіе науку въ этомъ тѣсномъ смыслѣ: науку о томъ что нужное всего знать человѣку. Наука эта всегда имѣла своимъ предметомъ знаніе того въ чемъ назначеніе

и потому истинное благо каждого человека и всѣхъ людей.“

Наука эта, можно бы прибавить, всегда называлась нравственною философіей, и напрасно графъ Толстой избѣгаетъ этого названія, такъ какъ оно сразу устранило бы возможность многихъ недоразумѣній и избавило бы его отъ необходимости давать произвольное и не-точное опредѣленіе наукъ въ собственномъ смыслѣ.

„Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначеніе и благо, продолжаетъ графъ Толстой,—наука будетъ ученіемъ объ этомъ назначеніи и благѣ, а искусство выраженіемъ этого ученія.“ Такого рода опредѣленіе само себя опровергаетъ; математику пришлось бы тогда признать не наукой, потому что она не говоритъ о назначеніи и благѣ людей, а ученіе любого моралиста-философа — наукой, потому что оно имѣетъ въ виду именно эти предметы. Смѣшеніе науки съ философіей одинаково не желательно и невыгодно для обѣихъ, и цѣль и методъ ихъ совершенно различны, хотя онѣ и должны находиться во взаимодѣйствіи

и освѣщать другъ друга. Невозможно было бы ожидать серіознаго развитія положительныхъ знаній еслибы приоб- рѣтенію ихъ постоянно предшествовалъ вопросъ „для чего они нужны?“, такъ какъ знаніе можетъ явиться силой толь- ко тогда когда оно вполнѣ усвоено; ду- мать же о приложимости знанія прежде чѣмъ оно вполнѣ усвоено противно ло- гическому ходу науки.

Между тѣмъ, именно такое требованіе приложимости или пользы предъявляетъ графъ Толстой ко всѣмъ положитель- нымъ наукамъ.

„Прежде чѣмъ человѣкъ познаетъ что бы то ни было“, говоритъ онъ, „онъ долженъ рѣшить что этотъ предметъ познанія важенъ для него, и важнѣе и нужнѣе чѣмъ тѣ другіе безчисленные предметы познанія, которыми онъ окру- женъ.“

Но требованіе это заключаетъ уже въ себѣ внутреннее противорѣчіе, такъ какъ почему же можетъ знать человѣкъ что извѣстный предметъ для него ва- женъ прежде чѣмъ познаетъ его?

„Я знаю, говорить графъ Толстой, что, по своему опредѣленію, наука должна быть бесполезна, то-есть наука для науки, но вѣдь это очевидная отговорка. Дѣло науки—служить людямъ.“

Едва ли кому-нибудь въ голову серьезно приходила отговорка приводимая графомъ Толстымъ; никто не утверждаетъ что наука *должна* быть бесполезною, но почти всѣ согласны въ томъ что цѣль науки не польза, а истина; что же касается пользы извлекаемой или не извлекаемой изъ научныхъ истинъ, то это уже дѣло техники, прикладныхъ знаній, а не науки, и потому упреки въ бесполезности или во вредѣ нѣсколько науки не касаются.

Чѣмъ же объясняется отрицательное отношеніе графа Толстаго къ положительнымъ наукамъ? Едва ли мы ошибемся сказавъ что въ основаніи его лежитъ отвращеніе къ тому мнимому научному направленію которое господствовало у насъ въ теченіе послѣднихъ двадцати или тридцати лѣтъ.

„Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того что

есть истинная наука и истинное искусство и говорю то что я говорю; только для того чтобы была возможность человечеству выйти изъ того дикаго состоянія въ которое оно быстро впадаетъ благодаря ложному ученію нашего времени, только для этого я и говорю то что говорю.“

Графъ Толстой энергически и вполне справедливо возстаетъ противъ стремленія провести подъ флагомъ науки теоріи ничего общаго съ нею не имѣющія.

„Намъ кажется, говоритъ онъ, что если мы приложимъ къ греческому слову слово *логія* и назовемъ это наукой, то будетъ наука.“

Если, возставая противъ этихъ мнимыхъ наукъ, авторъ нападаетъ иногда и на настоящія, причина этого главнымъ образомъ въ томъ что для громаднаго большинства образованныхъ людей модныя научныя гипотезы совершенно заслонили собою научныя истины. Къ сожалѣнію, и графъ Толстой не всегда достаточно различаетъ науку отъ научныхъ системъ и гипотезъ.

То онъ говоритъ о позитивизмѣ какъ

будто позитивизмъ дѣйствительно послѣднее слово положительныхъ наукъ, то сравниваетъ его господство съ господствомъ гегеліанства въ сороковыхъ годахъ. Сравненіе это совершенно вѣрно, такъ же какъ и критика позитивизма, но это ничего не говоритъ противъ положительныхъ наукъ вообще, даже въ современномъ ихъ состояніи. Такъ же какъ во время самого полного господства гегеліанства для людей знаемыхъ съ исторіей философій, кромѣ нѣсколькихъ ближайшихъ послѣдователей Гегеля, система его не могла казаться окончательнымъ результатомъ философскаго мышленія, точно такъ же и система Конта, несмотря на свою громадную популярность среди нашей публики, имѣла еще меньше вліянія на философію и на положительныя науки. Гегель оставилъ по крайней мѣрѣ многочисленную школу, хотя и во время наибольшей его славы—лучи ея ослѣпили, кажется, болѣе всего русскихъ писателей; въ Германіи же они не могли вытѣснить вліянія Аристотеля, Лейбница, Канта и Шеллинга. Что касается Конта,

то, кромѣ Литре, онъ не оставилъ за собою выдающихся послѣдователей во Франціи и нашелъ послѣдователей, скорѣе продолжателей, въ Англіи. Но и Спенсеръ, Милль, Бэнъ, Луисъ настолько удаляются отъ родоначальника позитивной философіи что ихъ скорѣе можно назвать просто эмпириками чѣмъ позитивистами.

Нельзя, однако, отрицать что большинству современныхъ ученыхъ дѣйствительно свойственно нѣкоторое поклоненіе фактамъ, и въ этомъ отношеніи графъ Толстой совершенно правъ, утверждая что люди современной науки, по преимуществу позитивисты, очень любятъ съ торжественностью и увѣренностью говорить: „мы изслѣдуемъ только факты“, — воображая что эти слова имѣютъ какой-нибудь смыслъ. „Изслѣдовать только факты никакъ нельзя, потому что фактовъ подлежащихъ нашему изслѣдованію *безчисленное* (въ точномъ значеніи этого слова) количество. Прежде чѣмъ изслѣдовать факты, надо имѣть теорію на основаніи которой *изслѣдуются*, то-есть *избирают-*

ся изъ безчисленнаго количества тѣ или другіе факты.“

Итакъ, отрицательное отношеніе графа Толстаго къ позитивизму и къ дарвинизму понятно: но Огюсть Контъ и Дарвинъ не представляютъ собою не только всей философіи и всего естествознанія вообще, но даже философіи и естествознанія въ ихъ современномъ положеніи; та или другая система, та или другая научная теорія не составляютъ еще науки. Гипотеза волнообразнаго движенія ээпра имѣетъ несравненно болѣе прочныя основанія, чѣмъ гипотеза происхожденія видовъ; она подтверждается тысячами опытовъ и математическихъ вычисленій, но остается все-таки гипотезой; допустимъ что она когда-нибудь будетъ опровергнута, это нисколько не поколеблетъ значенія оптики, и законы преломленія и отраженія свѣта останутся тѣ же самыя.

Если въ наше время нерѣдко научныя гипотезы смѣшиваются съ научными истинами, то въ этомъ виноваты никакъ не излишекъ, а скорѣе недостатокъ научнаго образованія.

Указывая на вредъ теоріи Дарвина (такъ какъ она даетъ видимость опоры вредному, по его мнѣнію, нравственно-му ученію), графъ Толстой тѣмъ самымъ опровергаетъ свое утвержденіе о бесполезности наукъ не имѣющихъ въ виду непосредственнаго блага человѣчества; такъ какъ очевидно что если ложная теорія такъ или иначе приноситъ вредъ, то теорія истинная, устраняющая эту ложную теорію, должна принести пользу.

III.

Законъ Мальтуса и законъ раздѣленія труда.

Насколько вѣски тѣ возраженія которыя дѣлаетъ графъ Толстой противъ произвольныхъ сравненій и обобщеній позитивной философіи и дарвинизма, настолько же мало убѣдительны нападки его на законъ Мальтуса и на законъ раздѣленія труда.

Если первый изъ этихъ законовъ, въ той формѣ въ которой онъ выраженъ Мальтусомъ, и не можетъ считаться строго-научною истиной, то поставленный имъ вопросъ слишкомъ серіозенъ чтобъ отъ него можно было отдѣлаться нѣсколькими строками, въ которыхъ раздраженія много, но возраженія — ни одного.

„Весьма плохой англійскій публицистъ, сочиненія котораго забыты и признаны ничтожнѣйшими изъ ничтожныхъ, пишетъ трактатъ о народонаселеніи, въ которомъ онъ придумываетъ мнимый

законъ несоразмѣрнаго со средствами пропитанія увеличенія населенія. Мнимый законъ этотъ писатель обставляетъ математическими, ни на чемъ не основанными формулами и выпускаетъ въ свѣтъ. По легкомысленности и бездарности этого сочиненія надо бы предполагать что сочиненіе это не обратитъ ничьего вниманія и забудется какъ всѣ послѣдующія сочиненія того же писателя; но выходитъ совсѣмъ другое: публицистъ написавшій это сочиненіе становится сразу научнымъ авторитетомъ и держится на этой высотѣ чуть не полстолѣтія.“

Дѣйствительно ли такъ произвольна, нелѣпа и безосновательна теорія Мальтуса, какъ это утверждаетъ графъ Толстой? Нѣтъ надобности ни въ математическихъ выкладкахъ, ни въ сложныхъ политико-экономическихъ разсужденіяхъ чтобъ убѣдиться что въ основаніи теоріи Мальтуса лежитъ серіозная и несомнѣнная истина.

Что бы мы ни думали о вычисленіяхъ Мальтуса, несомнѣнно то что поверхность земли ограничена, а способность

произрожденія безгранична, и если процентъ рожденій не будетъ уравниваться процентомъ смертности, и увеличение населенія (*per impossibile*) будетъ продолжаться до безконечности, то долженъ наступить моментъ, когда земля не въ состояніи будетъ не только прокормить, но и помѣстить всѣхъ людей.

До тѣхъ поръ пока вопросъ идетъ о всей землѣ, онъ не имѣетъ практической важности. Пока населеніе земнаго шара достигнетъ предѣльной цифры, успѣетъ умереть еще не одно поколѣніе, а тамъ *après nous le déluge*. Но если мы поставимъ вопросъ въ болѣе тѣсныя рамки и возьмемъ ту или другую густо населенную мѣстность, онъ получаетъ уже совершенно иное жизненное значеніе и вынуждаетъ считаться съ собою не только науку, но и правительства.

Вопросъ о голодающихъ рабочихъ не разрѣшается проиническимъ изложеніемъ теоріи Мальтуса и замѣчаніемъ: „зачѣмъ они, дураки, рождаются когда знаютъ что нечего имъ будетъ ѣсть“.

Дѣло идетъ не о дѣтяхъ, а о родителяхъ, и вопросъ о томъ имѣютъ ли пра-

во люди давать жизнь другимъ если не въ состояніи нѣкоторое время обезпечить ее, вопросъ настолько серьезный и спорный что различно рѣшается законодательствами различныхъ странъ.

Законъ Мальтуса возмущаетъ графа Толстаго, потому что онъ видитъ въ немъ предлогъ для оправданія роскоши. Если бѣдственное положеніе рабочихъ возникаетъ изъ физической необходимости, то въ немъ не виновата роскошь богатыхъ классовъ. Но это негодованіе зависитъ, мнѣ кажется, отъ того что графъ Толстой смѣшиваетъ два вопроса: люди богатые несомнѣнно могутъ помочь бѣднымъ, и это ихъ нравственная обязанность, но отсюда никакъ не слѣдуетъ что еслибы не было богатыхъ, не осталось бы и бѣдныхъ.

Законъ Мальтуса имѣетъ однако лишь косвенную и довольно отдаленную связь съ существующимъ порядкомъ вещей. Совсѣмъ другое дѣло раздѣленіе труда, на немъ основанъ весь строй современной жизни.

Чѣмъ больше развивается общественная, научная и промышленная дѣятель-

ность, тѣмъ сильнѣе и всестороннѣе становится это раздѣленіе.

Отрицать раздѣленіе труда не рѣшается и графъ Л. Н. Толстой, только онъ видитъ въ немъ не экономическій законъ зависящій отъ условій предложенія и спроса, а нѣчто такое что должно быть основано на чисто нравственныхъ соображеніяхъ.

„Раздѣленіе труда въ человѣческомъ обществѣ всегда было и вѣроятно будетъ; но вопросъ для насъ не въ томъ что оно есть и будетъ, а въ томъ чѣмъ мы должны руководствоваться чтобъ это раздѣленіе было правильно. Если же мы наблюденіе возьмемъ за мѣрило, то мы этимъ самымъ откажемся ото всякаго мѣрила; тогда мы всякое раздѣленіе труда, какое мы будемъ видѣть между людьми и какое намъ кажется правильнымъ, и будемъ считать правильнымъ, къ чему и ведетъ царствующая научная наука.

„Раздѣленіе труда есть законъ всего существующаго, и потому оно должно быть въ человѣческихъ обществахъ. Очень можетъ-быть что это такъ, но

остается все-таки вопросъ о томъ что то раздѣленіе труда, которое я теперь вижу въ моемъ человѣческомъ обществѣ, есть ли оно то самое раздѣленіе труда, которое должно быть?

„И если люди считаютъ извѣстное раздѣленіе труда неразумнымъ и несправедливымъ, то никакая наука не можетъ доказать людямъ что должно быть то что они считаютъ неразумнымъ, и несправедливымъ. Раздѣленіе труда есть условіе жизни организмовъ и человѣческихъ обществъ; но что въ этихъ человѣческихъ обществахъ считать органическимъ раздѣленіемъ труда?“

Что же разумѣетъ графъ Толстой подъ правильнымъ раздѣленіемъ труда?

„Живутъ люди, кормятся земледѣліемъ, какъ свойственно всѣмъ людямъ: одинъ человѣкъ устроилъ кузнечное горно и починилъ свой плугъ; приходитъ къ нему сосѣдъ и просить тоже починить и обѣщаетъ ему за это работу или деньги. Приходитъ третій, четвертый, и въ обществѣ этихъ людей происходитъ слѣдующее раздѣленіе труда—дѣлается кузнецъ. Другой человѣкъ хорошо вы-

училъ своихъ дѣтей, къ нему приводить дѣтей сосѣдъ и просить учить ихъ, и дѣлается учитель; но и кузнецъ и учитель сдѣлались и продолжаютъ быть такими только потому что ихъ просили и остаются таковыми до тѣхъ поръ пока ихъ просятъ быть кузнецомъ и учителемъ.“

Намъ кажется что дѣло происходитъ какъ разъ въ обратномъ порядкѣ противъ того который описывается здѣсь графомъ Толстымъ, и кузнецъ не потому становится кузнецомъ и учитель учителемъ что кто-то ихъ проситъ объ этомъ, а наоборотъ, кузнеца просятъ ковать лошадей, а учителя учить дѣтей, потому что они умѣютъ это дѣлать.

Но гипотеза эта, можетъ-быть, представляетъ собою только не совсѣмъ точное выраженіе несомнѣнно вѣрнаго положенія что трудъ можетъ быть рассматриваемъ какъ товаръ, и цѣна его (а слѣдовательно и побудительныя причины къ занятію имъ) обусловливается предложеніемъ и спросомъ. Только въ такомъ случаѣ выводъ который дѣлаетъ

отсюда графъ Толстой уже совсѣмъ не вытекаетъ изъ этой истины.

„Еслибы случилось что заведется много кузнецовъ и учителей, или ихъ работа не нужна, они тотчасъ, какъ этого требуетъ здравый смыслъ и какъ это бываетъ всегда тамъ гдѣ нѣтъ причинъ нарушенія правильности раздѣленія труда, они тотчасъ бросаютъ свое мастерство и опять берутся за земледѣліе. Люди поступающіе такъ руководствуются своимъ разумомъ, своею совѣстію, и потому мы, люди одаренные разумомъ и совѣстію, всѣ утверждаемъ что такое раздѣленіе труда правильно. Но еслибы случилось что кузнецы имѣютъ возможность принудить другихъ людей работать на нихъ и продолжали бы дѣлать подковы, когда ихъ не нужно, а учителя учили бы когда некого учить, то всякому свѣжему человѣку, то-есть существу одаренному разумомъ и совѣстію, очевидно что это не было бы раздѣленіемъ, а захватомъ чужаго труда. А между тѣмъ такая именно дѣятельность и есть то что называется по научной наукѣ раздѣленіемъ труда.“

Примѣръ здѣсь выбранъ настолько неудачно что трудно провѣрить на немъ значеніе той мысли которая лежитъ въ его основаніи.

Вопервыхъ, еслибы *некого* было учить, то учителя не могли бы продолжать учить; а еслибы кузнецы имѣли возможность *заставить* другихъ людей работать на себя даромъ, то едва ли бы они продолжали дѣлать подковы для собственнаго удовольствія; во вторыхъ, вообще говоря, принудить кого бы то ни было *купить* что-нибудь (то-есть не только уплатить деньги, но и взять товаръ за который онъ уплаченъ) нѣтъ никакой возможности; заставить отдать деньги, не имѣя на нихъ никакого права, возможно, но это будетъ прямо грабежомъ, а не раздѣленіемъ труда, и что бы ни говорилъ графъ Толстой, никакая наука подобнаго раздѣленія труда не рекомендовала.

„Странно было бы видѣть сапожника, говоритъ графъ Толстой, который считалъ бы что люди обязаны его кормить за то что онъ шьетъ, не переставая, сапоги, которые давно уже никому не

вужны, но что же сказать про тѣхъ людей которые уже ничего не шьютъ, ничего не только видимаго, но полезнаго для народа не производятъ, на товаръ которыхъ нѣтъ охотниковъ и которые такъ же сильно, на основаніи раздѣленія труда, требуютъ чтобъ ихъ поили и кормили сладко и одѣвали хорошо? Могутъ быть и есть колдуны, къ дѣятельности которыхъ заявляются требованія, и имъ носятъ за это мѣшки и полуштофы, но того чтобы были такіе колдуны колдовство которыхъ никому не нужно и которые бы смѣло требовали чтобъ ихъ сладко кормили за то что они будутъ колдовать, это трудно себѣ представить. А это самое и есть въ нашемъ мірѣ, и все это происходитъ на основаніи того ложнаго понятія раздѣленія труда, опредѣляемаго не разумомъ и совѣстью, а наблюденіемъ, которое съ такимъ единодушіемъ исповѣдуютъ люди науки.“

Требовать каждый можетъ что ему вздумается; но колдовать надо бы очень искусно чтобы другіе сочли нужнымъ платить за ненужное имъ колдовство.

Впрочемъ, дѣло становится гораздо яснѣе когда оказывается что рѣчь идетъ совсѣмъ не о колдунахъ, кузнецахъ или сапожникахъ, а о докторахъ, техникахъ и т. п. людяхъ.

„Царствующая наука съ обманною торжественностью заявляетъ что разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ жизни возможно только изученіемъ фактовъ природы и въ особенности организмовъ. Легковѣрная толпа молодежи, подавленная новостью этого не только не разрушеннаго, но еще не затронутаго критикой авторитета, бросается на изученіе этихъ фактовъ въ естественныхъ наукахъ, на тотъ единственный путь, который, по утвержденію царствующаго ученія, можетъ привести къ уясненію вопросовъ жизни. Но чѣмъ дальше подвигаются ученики въ этомъ изученіи, тѣмъ дальше и дальше становится отъ нихъ не только возможность, но даже самая мысль о разрѣшеніи вопросовъ жизни и тѣмъ больше и больше привыкаютъ они не столько наблюдать, сколько вѣрить на слово чужимъ наблюденіямъ. тѣмъ больше форма заслоняетъ для нихъ

содержаніе; тѣмъ больше и больше теряютъ они сознаніе добра и зла и способность понимать тѣ выраженія и опредѣленія добра и зла которыя выработаны всею предшествующею жизнью человѣчества, тѣмъ болѣе и болѣе усваиваютъ они себѣ спеціальнѣйшій научный жаргонъ условныхъ выраженій, не имѣющихъ общечеловѣческаго значенія, тѣмъ дальше и дальше заходятъ они въ дебри ничѣмъ не освѣщенныхъ наблюденій, тѣмъ больше и больше лишаются они способности не только самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свѣжую, находящуюся внѣ ихъ Талмуда, человѣческую мысль; главное же, проводятъ лучшіе годы въ отвлеченій отъ жизни, то-есть отъ труда, привыкаютъ считать свое положеніе оправданнымъ и дѣлаются и физически ни на что негодными паразитами, и умственно вывихиваютъ себѣ мозги и становятся скопками мысли. II точно также, по мѣрѣ отупѣнія, пріобрѣтаютъ самоувѣренность, лишаящую ихъ уже навсегда возможности возврата къ простой трудовой

жизни, къ простому, ясному и общечеловѣческому мышленію.“

Зло указываемое графомъ Толстымъ дѣйствительно существуетъ, особенно у насъ, но въ этомъ ни чуть не виновато раздѣленіе труда, а скорѣе недостатокъ его. Тотъ апломбъ съ которымъ медикъ или естественникъ втораго курса беретъ за рѣшеніе соціальныхъ вопросовъ доказываетъ только то что онъ не умѣетъ и не желаетъ специализоваться на избранной имъ отрасли знанія.

Есть, впрочемъ, и другая причина того зла на которое указываетъ графъ Толстой,—это стремленіе къ высшему образованію не ради знаній, а ради матеріальной обезпеченности, которая болѣе или менѣе пріобрѣтается посредствомъ него.

Эту сторону вопроса, повидимому, болѣе всего имѣетъ графъ Толстой въ виду, нападая на неправильное раздѣленіе труда. Но тѣ же экономическіе законы которые обусловливаютъ въ извѣстный моментъ усиленный спросъ на ту или другую умственную работу и вызываютъ иногда чрезмѣрное ея предложеніе, со-

временемъ регулируютъ это предложене и устанавливаютъ нормальное отношеніе между различными видами умственной дѣятельности. Въ извѣстный переходный періодъ времени возможенъ недостатокъ или избытокъ врачей, адвокатовъ или техниковъ, точно такъ же какъ и ткачей, каменщиковъ или огородниковъ, но въ концѣ концовъ каждый выбираетъ то занятіе или то знаніе къ которому чувствуетъ наиболѣе способности и которое можетъ лучше всего обезпечить его существованіе. Цѣна на умственный трудъ, какъ и на всякій другой, опредѣляется предложениемъ и спросомъ, хотя графъ Толстой и не хочетъ признать этой экономической истины, потому что онъ вообще умственный трудъ не хочетъ признать трудомъ въ собственномъ смыслѣ.

„Наука и искусство, говоритъ онъ, говорили себѣ право праздности и пользованія чужими трудами и измѣнили своему призванію. И заблужденія ихъ произошли только потому что служители ихъ, выставивъ ложно понятый принципъ раздѣленія труда, признали за со-

бою право пользоваться трудами другихъ и потеряли смыслъ своего призванія, сдѣлавъ себѣ цѣлью не пользу народа, а таинственную пользу науки и искусства и предались праздности и разврату, не столько чувственному сколько умственному.

„Говорять, наука и искусство многое дали человѣчеству.

„Наука и искусство много дали человѣчеству не *потому* что люди науки и искусства подъ видомъ раздѣленія труда живутъ на шеѣ рабочаго народа, а *несмотря на это*. Римская республика была могущественна не потому что граждане ея имѣли возможность развратничать, а потому что въ числѣ ихъ были доблестные граждане. То же самое и съ наукой, и искусствомъ. Наука и искусство дали много человѣчеству, но не потому что служители ихъ имѣли изрѣдка прежде и теперь имѣютъ всегда возможность освободить себя отъ труда, а потому что были гениальные люди, которые, не пользуясь этими правами, двигали впередъ человѣчество.

„Сословіе ученыхъ и художниковъ, за-

являющее на основаніи ложнаго раздѣленія труда требованіе на пользованіе трудами другихъ, не можетъ содѣйствовать успѣху истинной науки, потому что ложь не можетъ произвести истины.

„Наука и искусство прекрасныя вещи, но именно потому что онѣ прекрасныя, ихъ и не надо портить обязательнымъ присоединеніемъ къ нимъ разврата, т.-е. освобожденія себя отъ обязанности человѣка служить трудомъ жизни своей и другихъ людей. Наука и искусство подвинули впередъ человѣчество. Да! но не тѣмъ что люди науки и искусства подъ видомъ раздѣленія труда освободили себя отъ самой первой и несомнѣнной человѣческой обязанности *трудиться руками въ общей борьбѣ человѣчества съ природой.*“

Я нарочно подчеркиваю послѣднія слова, потому что они составляютъ краеугольный камень нравственной философіи графа Толстаго и отличительную черту ея отъ другихъ сходныхъ съ нею системъ.

„Въ чемъ бы ни полагалъ человѣкъ своего призванія: въ томъ ли чтобъ

управлять людьми, въ томъ ли чтобы защищать своихъ соотечественниковъ, совершать ли богослуженія, научать ли другихъ, придумывать ли средства для увеличенія пріятностей жизни, открывать ли законы міра, воплощать вѣчныя истины въ художественныхъ образахъ, обязанность разумнаго человѣка участвовать въ борьбѣ съ природой для поддержанія жизни и своей и другихъ людей всегда будетъ самая первая и самая несомнѣнная. Обязанность эта будетъ первою уже потому что людямъ нужнѣе всего ихъ жизнь, и потому для того чтобы защищать и научать людей и дѣлать ихъ жизнь болѣе пріятною— надо сохранять самую жизнь, а между тѣмъ мое неучастіе въ борьбѣ, поглощеніе чужихъ трудовъ есть уничтоженіе чужихъ жизней. И потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизнь людей, и нельзя говорить что я служу людямъ, когда я своею жизнію очевидно врежу имъ.“

Итакъ, истинная наука и истинное искусство не избавляютъ отъ обязанности трудиться руками въ борьбѣ съ природой.

Но какъ же объяснить тогда что не только Аристотель, Декартъ, Кантъ, Рафаэль, Гёте или Пушкинъ, но и Сократъ и Шопенгауеръ, на которыхъ нерѣдко ссылается графъ Толстой, не исполнили этой обязанности? Или они не были *истинными* учеными и художниками, или обязанность трудиться *руками* не такъ несомнѣнна, какъ она кажется графу Толстому.

Допустимъ что борьба съ природой дѣйствительно составляетъ первую и главную обязанность каждаго человѣка; что же отсюда слѣдуетъ? Очевидно то что тотъ кто въ этой борьбѣ достигнетъ наибольшихъ результатовъ, лучше всѣхъ исполнитъ свою обязанность. Вопросъ стало-быть въ результатѣ, а не въ процессѣ борьбы. Кто же дѣлаетъ больше въ борьбѣ съ природой, инженеръ ли который задумалъ планъ осушенія болота, или каждый изъ тысячи рабочихъ исполняющихъ этотъ планъ?

Каждый матросъ на кораблѣ везущемъ изъ Индіи въ Европу транспортъ пшеницы въ извѣстной мѣрѣ содѣйствуетъ борьбѣ человѣка съ природой,

но чья роль въ этой борьбѣ важнѣе, этого матроса или капитана корабля на которомъ онъ находится, или Лессепса, который сдѣлалъ возможнымъ сокращеніе пути этого корабля болѣе чѣмъ на половину? Графъ Толстой возмущается тѣмъ что высшее образованіе даетъ возможность людямъ до тридцати лѣтъ жить ничего не дѣлая и послѣ тридцати лѣтъ продолжать ту же жизнь все общающаяся что-то сдѣлать. Но въ дѣйствительности не высшее образованіе, а нѣкоторая матеріальная обезпеченность освобождаютъ отъ необходимости физическаго труда. Въ какой мѣрѣ эта матеріальная обезпеченность связана съ высшимъ образованіемъ, зависитъ отъ условій времени и мѣста, то-есть дѣло сводится опять къ размѣрамъ предложенія и спроса на умственный трудъ. Нужны или не нужны спеціалисты, это вопросъ о которомъ, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія графа Толстаго, можно еще спорить, но несомнѣнно что *если* они нужны, то ихъ привилегированное положеніе относительно физическаго труда совершенно необходимо, такъ

какъ очевидно что человѣкъ который пахалъ утромъ землю не въ состояніи будетъ сдѣлать вечеромъ глазной операціи или микроскопическаго изслѣдованія.

Если умственный трудъ вообще оплачивается лучше нежели физическій, это вовсе не по причинѣ какой-то стачки или насилія со стороны ученыхъ, а потому что предложеніе его сравнительно меньше, и потому что для пріобрѣтенія возможности заработка посредствомъ него требуетъ уже нѣкоторое количество знаній и искусства, что предполагаетъ предварительную затрату времени и капитала, такъ что въ заработной платѣ заключаются и проценты на этотъ ранѣе израсходованный капиталъ.

Но это объясненіе не удовлетворить, конечно, послѣдователей графа Толстаго: какое право, спросятъ они, имѣетъ человѣкъ въ теченіе полу жизни расходовать капиталъ который онъ не пріобрѣталъ, да и потомъ еще требовать процентовъ на него когда онъ уже израсходованъ?

Это приводитъ насъ къ вопросу о собственности.

IV.

Опредѣленіе и критика понятія собственности
графа Толстаго.

Графъ Толстой оказывается самымъ рѣшительнымъ противникомъ собственности, хотя трудно опредѣлить чѣмъ бы онъ хотѣлъ замѣнить ее или въ чемъ видитъ возможность устранить ее изъ общественной жизни.

Что значить собственность? спрашиваетъ онъ.

„Собственность значить то что дано, принадлежит мнѣ одному исключительно, то съ чѣмъ я могу сдѣлать всегда все что хочу, то чего никто не можетъ отнять у меня, что остается моимъ до конца моей жизни и то что я именно долженъ употреблять, увеличивать, улучшать.“

Когда дашь такое опредѣленіе собственности, не удивительно потому что ея не окажется въ цѣломъ мірѣ. Здѣсь все невѣрно; я не говорю уже съ точки зрѣнія юридической, которую графъ

Толстой может отрицать, но и съ логической, которая одинаково обяза- тельна для всѣхъ разумныхъ существъ.

„Собственность значить то что принад- лежитъ мнѣ исключительно.“ Это совер- шенно справедливо, но означаетъ толь- ко то что собственность есть собствен- ность, мое есть мое, такъ какъ *исклю- чительная принадлежность* и собствен- ность *синонимы*; но то чтобъ я съ мо- ею собственностью *всегда* могъ сдѣлать все что хочу—невѣрно, потому что соб- ственность можетъ быть отдѣлена отъ фактическаго владѣнія; если лошадь вы- рвалась у меня и убѣжала, я не могу уже ѣхать на ней сколько бы ни хотѣлъ этого, несмотря на то что она остае- ся моею собственностью.

„Собственность есть то что никто не можетъ отнять у меня“—опять невѣрно, потому что нѣтъ такой собственности которая не могла бы быть отнята по- средствомъ кражи, грабежа, самоволь- наго захвата или иного правонарушенія (слѣдовательно въ опредѣленіи необхо- димо было бы по крайней мѣрѣ приба- вить „безъ нарушенія права“).

„Собственность есть то что остается моимъ до конца моей жизни.“ Это уже совсѣмъ непонятно. Неужели табакъ, на-
примѣръ, который я выкурилъ долженъ
оставаться моимъ до конца моей жизни
или не быть моимъ пока я его не вы-
курить?

„Собственность есть то что я именно
долженъ употреблять, увеличивать,
улучшать.“ Это опять совсѣмъ непонят-
но. Пусть, наприимѣръ, я купилъ ружье—
оно стало моею собственностью, но
отсюда никакъ не слѣдуетъ чтобъ я
долженъ былъ стрѣлять изъ него, а тѣмъ
менѣе, увеличивать или улучшать его.

Пусть не примутъ этотъ разборъ
опредѣленія графа Толстаго за при-
дирку съ моей стороны. „Слова имѣ-
ютъ всегда ясное значеніе до тѣхъ
поръ пока мы умышленно не да-
димъ имъ ложный смыслъ“, и вотъ
для устраненія этой неясности и умыш-
ленного искаженія смысла связаннаго со
словомъ *собственность* графъ Толстой
и даетъ свое новое опредѣленіе; изъ
этого опредѣленія оказывается что не
только отдѣльные предметы указанные

мною не могутъ быть моею собственностью, но что собственности не существуетъ: такъ какъ единственная „собственность для каждаго человѣка онъ самъ“.

И такое опредѣленіе по мнѣнію графа Толстаго должно быть справедливѣе и яснѣе того которое дается и наукой и положительнымъ закономъ; но пусть попробуетъ онъ объяснить крестьянину у котораго украли лошадь что собственность для каждаго человѣка только онъ самъ или спросить у него какое предложеніе ему понятнѣе, лошадь—моя, или я—мой.

Въ исторіи нравственныхъ и политическихъ ученій не разъ были попытки доказать что собственности *не должно* быть, но до графа Толстаго кажется никому еще въ голову не приходило отрицать ея фактическое существованіе. По теоріи же графа Толстаго оказывается что все что положительнымъ правомъ считается собственностью есть только воображаемая собственность. Могутъ возразить что споръ здѣсь лишь о словахъ и что то что обыкновенно называется

просто собственностью, графъ Толстой называетъ „воображаемую“ собственностью — вопросъ терминологіи. Это пожалуй такъ, но тогда необходимо предварительно условиться въ терминахъ и помнить что по этой терминологіи можно, напримѣръ, дѣйствительно ѣхать верхомъ на воображаемой лошади. Надо помнить также что когда графъ Толстой утверждаетъ что деньги зло—это зло воображаемое.

„Деньги сами по себѣ зло“, говоритъ графъ Толстой. „И потому тотъ кто даетъ деньги—тотъ даетъ зло. Зablужденіе это, что давать деньги значитъ дѣлать добро, произошло отъ того что большею частью когда человѣкъ дѣлаетъ добро, то онъ освобождается отъ зла и въ томъ числѣ отъ денегъ. И потому давать деньги есть только признакъ того что человѣкъ начинаетъ избавляться отъ зла.“

Но если деньги зло, то казалось бы есть средство проще избавиться отъ этого зла и лучше было бы сжечь или зарыть ихъ чѣмъ передавать другому. Впрочемъ вопросъ о деньгахъ,

разумѣется, не можетъ разсматриваться независимо отъ труда или собственности, знакомъ которыхъ онѣ являются.

Итакъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ что есть истинная и что воображаемая собственность, мы будемъ говорить о томъ что вообще обозначается этимъ словомъ, о такъ-называемой собственности.

Возвращаясь къ вопросу о томъ: можетъ ли человѣкъ располагать капиталомъ котораго онѣ не приобрѣталъ? Нѣтъ, не можетъ, потому что это было бы распоряженіемъ чужою собственностью. Но въ сущности вопросъ не въ этомъ, а въ томъ, можетъ ли человѣкъ приобрести имущество иначе какъ посредствомъ труда? Несомнѣнно можетъ, потому что даже въ томъ случаѣ если трудъ есть единственный источникъ приобретения права собственности, будучи разъ приобретено, оно предполагаетъ право обмѣна и даренія. Если я посредствомъ собственного труда приобрѣлъ хлѣбъ, я могу не только съѣсть его, но и обмѣнять его на

соху или подковы, или просто подарить его, и право послѣдняго пріобрѣтателя всегда будетъ основано на правѣ перваго, такъ что нельзя будетъ нарушить его не нарушая перваго. Отнять у сына наслѣдство, ради котораго трудился отецъ, значить похитить у отца плодъ его работы.

Приравнивать то вліяніе которое даютъ въ обществѣ деньги ко власти рабовладѣльцевъ нельзя безъ явной натяжки.

„Участіе въ рабствѣ со стороны рабовладѣльца состоитъ въ пользованіи чужимъ трудомъ, все равно зиждется ли рабство на моемъ правѣ на раба или на моемъ владѣніи землей или деньгами“, говорятъ графъ Толстой. „И потому если человѣкъ точно не любитъ рабства и не хочетъ быть участникомъ въ немъ, то первое что онъ сдѣлаетъ будетъ то что онъ не будетъ пользоваться чужимъ трудомъ ни посредствомъ владѣнія землей, ни посредствомъ денегъ.“

Здѣсь мы встрѣчаемся опять съ неточнымъ опредѣленіемъ. Участіе въ рабствѣ состоитъ не въ пользованіи чу-

жимъ трудомъ, а въ пользованіи чужимъ трудомъ *безвозмездно и противъ воли трудящагося*, иначе и крестьянинъ который переѣзжаетъ черезъ рѣку за три копѣйки оказался бы участникомъ въ рабовладѣльчествѣ, и ребенокъ котораго кормятъ родители рабовладѣльцемъ своихъ родителей.

Не можетъ быть рабства тамъ гдѣ услуги обусловливаются обмѣномъ и обоюднымъ согласіемъ сторонъ. Даже если обмѣнъ этотъ невыгоденъ для одной изъ сторонъ, рѣчь можетъ идти только объ обманѣ или о притѣсненіи, и слово рабство можетъ быть употреблено только какъ гипербола.

Почти все что говоритъ графъ Толстой о раздѣленіи труда, о собственности и о деньгахъ не выдерживаетъ критики, главнымъ образомъ потому что воззрѣніе его на эти вопросы содержитъ внутреннее противорѣчіе.

Признавъ борьбу съ природой цѣлью и обязанностью каждаго человѣка, нельзя уже потомъ безъ непослѣдовательности отвергать пользу раздѣленія труда или капитала, которые одни даютъ воз-

возможность подчинения природы человеческой воле. Можно находить безнравственнымъ такое раздѣленіе труда, которое превращаетъ человека въ машину, но только никакъ не съ точки зрѣнія борьбы съ природой, на которую становится графъ Толстой, потому что именно благодаря специализаціи труда получаются наибольшіе *матеріальныя* результаты, которые одни имѣютъ значеніе въ борьбѣ съ природой.

Правда что графъ Толстой пытается ослабить значеніе этого факта:

„Допустимъ, говоритъ онъ, что дѣйствительно успѣхи сдѣланные въ нашъ вѣкъ удивительны, необычайны, допустимъ что мы такіе особенные счастливыцы что живемъ въ такое необыкновенное время; но попытаемся оцѣнить эти успѣхи, не на основаніи нашего самодовольства, а того самаго принципа который защищается этими успѣхами раздѣленія труда.

„Всѣ эти успѣхи очень удивительны, но по особенной несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сихъ поръ успѣхи эти не улучшили, а ско-

рѣе ухудшили положеніе большинства, то-есть рабочихъ. Если рабочій можетъ вмѣсто ходьбы проѣхать на желѣзной дорогѣ, то за то желѣзная дорога эта сожгла его лѣсъ, увезла у него изъ-подъ носа хлѣбъ, и привела его въ состояніе близкое къ рабству—къ капиталисту. Если благодаря паровымъ двигателямъ и машинамъ рабочій можетъ купить дешево непрочнаго ситцу, то за то эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели въ состояніе совершеннаго рабства фабриканту. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфоніи, оперы, картинныя галлерей и т. п., то жизнь рабочаго отъ этого не улучшилась, потому что все это по той же несчастной случайности недоступно ему. Такъ что въ общемъ, въ чемъ согласны и люди науки, до сихъ поръ всѣ эти необычайныя пріобрѣтенія науки и искусства если не ухудшили, то никакъ не улучшили жизнь рабочаго. Такъ что если къ вопросу о дѣйствительности успѣховъ, достигнутыхъ науками и искусствами, мы приложимъ не наше восхи-

щеніе предъ самими собой, а то самое мѣрило на основаніи котораго защищается раздѣленіе труда—пользу рабочему народу, то увидимъ что у насъ еще нѣтъ твердыхъ основаній для того самодовольства которому мы такъ охотно предаемся.“

Польза — понятіе чрезвычайно растяжимое; между матеріальною выгодой и пользою въ высшемъ нравственномъ смыслѣ нерѣдко бываетъ не только существенное различіе, но даже прямая противоположность; поэтому спорить о пользѣ вообще чрезвычайно трудно. Въ данномъ случаѣ, однако, графъ Толстой говоритъ только о матеріальной пользѣ, легче поддающейся опредѣленію. Посмотримъ же, что приноситъ въ этомъ смыслѣ раздѣленіе труда для массы населенія: пользу или вредъ? Можно очень подробно сравнивать пользу желѣзной дороги со вредомъ прекращенія извознаго промысла, или пользу отъ дешеваго ситца со вредомъ отъ сокращенія тканья полотенъ и все-таки ни до чего не договориться. Къ счастью, есть другой способъ опредѣленія пользы

и вреда того или другого рода занятій, а именно количество населенія зарабатывающаго себѣ хлѣбъ посредствомъ этого занятія. То занятіе или тотъ родъ занятій который даетъ возможность на равномъ пространствѣ существовать наибольшему количеству людей есть, очевидно, самый производительный. Но стоить сличить густоту населенія Англіи или Бельгіи, гдѣ благодаря промышленности раздѣленіе труда достигло высшей степени, съ населенностью другихъ странъ, чтобъ убѣдиться въ томъ какой трудъ производительнѣе для самихъ рабочихъ.

Съ точки зрѣнія графа Толстаго можно возразить на это что такое явленіе возможно лишь благодаря тому что промышленные центры живутъ паразитически, только на счетъ странъ земледѣльческихъ, увозя у деревенскаго рабочаго изъ - подъ носа хлѣбъ. Но вѣдь продажа хлѣба составляетъ главный, если не единственный, доходъ всего земледѣльческаго населенія. И большинство крестьянъ черноземной полосы Россіи было бы въ крайне затрудни-

тельномъ положеніи, не зная какъ купить топоръ, соху, соли или керосина еслибы такъ или иначе не увозили у него хлѣба.

Если возникаютъ промышленные центры, то только благодаря тому что земледѣльческое населеніе нуждается въ нихъ. Еслибы земледѣльцы не нуждались въ фабрикахъ и ремеслахъ, они ограничились бы производствомъ хлѣба въ размѣрѣ нужномъ для собственнаго пропитанія, и ремесленникамъ и фабричнымъ пришлось бы или умирать съ голода, или самимъ приниматься за земледѣліе.

Ясно такимъ образомъ что или самое мѣрило выбранное графомъ Толстымъ не вѣрно, или онъ не вѣрно примѣнилъ его.

Но если съ точки зрѣнія юридической и экономической почти всѣ возраженія графа Толстаго противъ современной науки и существующаго порядка вещей падаютъ сами собою, нельзя сказать того же съ точки зрѣнія этической.

Многое изъ того что есть и вѣроятно всегда будетъ въ силу законовъ физической природы и человѣческаго эгоизма не должно быть съ точки зрѣнія нравственнаго закона.

У.

Богатство и бѣдность. — Благотворительность частная и общественная. — Попытка графа Толстаго во время переписи; причины ея неудачи.

„Всѣ кричать о шаткости нашего общественнаго строя, объ исключительномъ положеніи, о революціонномъ настроеніи. Гдѣ корень всего? На что указываютъ революціонеры? На нищету, неравномѣрность распредѣленія богатствъ. На что указываютъ консерваторы? На упадокъ нравственныхъ основъ. Если справедливо мнѣніе революціонеровъ, что же надо сдѣлать? Уменьшить нищету и неравномѣрное распредѣленіе богатствъ. Какъ это сдѣлать? Богатымъ подѣлиться съ бѣдными. Если справедливо мнѣніе консерваторовъ что все зло отъ упадка нравственныхъ основъ, то что можетъ быть безнравственнѣе и развратительнѣе, какъ сознательное равнодушное созерцаніе люд-

скихъ несчастій съ одною цѣлью записывать ихъ? Что жь надо сдѣлать? Надо къ переписи присоединить дѣло любовнаго общенія богатыхъ, досужныхъ и просвѣщенныхъ—съ нищими, задвленными и темными.“

Вотъ что писалъ графъ Толстой въ 1882 предъ началомъ переписи въ Москвѣ, оканчивая статью своими словами:

„Пускай механики придумываютъ машину, какъ приподнять тяжесть давящую насъ—это хорошее дѣло; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христіански налягнемъ народомъ, не поднимаемъ ли. Дружнѣе, братцы, разомъ.“

А вотъ что пишетъ онъ послѣ переписи:

„Помню странное впечатлѣніе произведенное на меня встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздѣтые, они всѣ мнѣ показались высокими при свѣтѣ фонаря въ темнотѣ двора; испуганные и страшные въ своемъ испугѣ, они стояли кучкой, слушали наши увѣренія и не вѣрили намъ и, очевидно, готовы были на все, какъ

травленный звѣрь, чтобы только спастись отъ насъ... Но ворота были заперты и встревоженные почлежники вернулись, мы же, раздѣлившись на группы, пошли .. Всѣ квартиры были полны, всѣ койки были заняты и не однимъ, а часто двумя. Ужасно было зрѣлище потѣснотѣ въ которой жался этотъ народъ, и по смѣшенію женщинъ съ мущинами. Женщины же мертвецки пьяныя спали съ мущинами. Многія женщины съ дѣтьми на узкихъ койкахъ спали съ чужими мущинами. Ужасно было зрѣлище по нищетѣ, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное, ужасно по тому огромному количеству людей которые были въ этомъ положеніи. Одна квартира и потомъ другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нѣтъ имъ конца. И вездѣ тотъ же смрадъ, та жедухота, тѣснота, то же смѣшеніе половъ, тѣ же пьяные до одуренія мущины и женщины, и тотъ же испугъ, покорность и виновность на всѣхъ лицахъ, и мнѣ стало опять совѣстно и больно какъ въ Ляпинскомъ домѣ, и я понялъ что то что я затѣ-

валъ было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывалъ и не спрашивалъ, зная что изъ этого ничего не выйдетъ.“

Что же могло произвести эту рѣзкую перемену во взглядѣ, отчего мысль вполне естественная и понятная, хотя можетъ-быть недостаточно практичная, начинаетъ казаться графу Толстому не только глупою, но даже гадкою?

Одна изъ главныхъ причинъ этой перемены состоитъ въ томъ что до переписи графъ Толстой былъ знакомъ только съ деревенскою нуждой.

„Нужда же городская была и менѣе правдива, и болѣе требовательна, и болѣе жестока, чѣмъ нужда деревенская. Главное же, ея было въ одномъ мѣстѣ такъ много что она произвела на меня ужасное впечатлѣніе. Испытанное мною въ Липинскомъ домѣ впечатлѣніе въ первую минуту заставило меня почувствовать безобразіе моей жизни. Чувство это было искренне и очень сильно. Но, несмотря на искренность и силу его, я въ первое время былъ настолько слабъ что испугался того переворота своей жизни

къ которому призывало это чувство, и пошелъ на сдѣлки. Я повѣрилъ тому что мнѣ говорили всѣ, и тому что говорятъ всѣ съ тѣхъ поръ что свѣтъ стоитъ, о томъ что въ богатствѣ и роскоши нѣтъ ничего дурнаго, что оно отъ Бога дано, что можно, продолжая жить богато, помогать нуждающимся. Я повѣрилъ этому и захотѣлъ это дѣлать. И написалъ статью въ которой призывалъ всѣхъ богатыхъ людей къ помощи. Богатые люди всѣ признали себя нравственно обязанными согласиться со мною, но очевидно, или не желали, или не могли ничего ни дѣлать, ни давать для бѣдныхъ. Я сталъ ходить по бѣднымъ и увидалъ то что я никакъ не ожидалъ. Съ одной стороны, я увидалъ въ этихъ вертепахъ, какъ я называлъ ихъ, людей такихъ, какимъ немыслимо было мнѣ помогать, потому что они были рабочіе люди привыкшіе къ труду и лишеніямъ и потому стоящіе гораздо тверже меня въ жизни; съ другой стороны, я увидѣлъ несчастныхъ, которымъ я не могъ помогать, потому что они были точно такіе же какъ я. Боль-

шинство несчастныхъ, которыхъ я уви-
дѣлъ, были несчастные только потому
что они потеряли способность, охоту
и привычку зарабатывать свой хлѣбъ,
то-есть ихъ несчастіе было въ томъ
что они были такіе же, какъ я.“

Несмотря на кажущуюся парадоксаль-
ность этого вывода, онъ имѣетъ, однако,
вѣскія основанія: нельзя, разумѣется,
помогать людямъ рабочимъ, имѣющимъ
возможность зарабатывать жизнь, по-
тому что тогда пришлось бы помо-
гать девяти десятимъ человѣческаго
рода, и какъ бы ни были велики сред-
ства благотворителя, они скоро исто-
щатся, никому не принеся существенной
пользы; нельзя помогать и тѣмъ ко-
торые не хотятъ или даже, какъ выра-
жается графъ Толстой, потеряли способ-
ность работать, такъ какъ это легко
могло бы повести къ уtratѣ этой спо-
собности и въ тѣхъ у кого она еще
есть. Но отсюда слѣдуетъ только то
что помогать надо не тѣмъ категоріямъ
бѣдныхъ на которыя преимущественно
наталкивался графъ Толстой, а тѣмъ
которые работать не могутъ, а такіе
бѣдные несомнѣнно есть.

Но остановимся на самыхъ понятіяхъ богатства и бѣдности. Понятія эти соотносительныя и противоположныя, такъ что если богатство есть зло, бѣдность должна быть благомъ, а если бѣдность есть зло, то благомъ должно быть богатство. ,

Но если бѣдность есть благо, то выводя изъ нея людей, мы лишаемъ ихъ блага и такимъ образомъ, вопреки общему мнѣнію, дѣлаемъ зло. Графъ Толстой и не останавливается передъ этимъ заключеніемъ, прямо утверждая что давать деньги значитъ давать зло.

Какъ ни парадоксально можетъ казаться мнѣніе что богатство, составляющее мечту большинства людей, есть зло, а бѣдность благо, мнѣніе это уже много разъ высказывалось выдающимися мыслителями-моралистами, и чтобы рѣшить на чьей сторонѣ правда, надо прежде всего понятія богатства и бѣдности освободить ото всякой посторонней примѣси.

Несомнѣнно что богатство, такъ же какъ и бѣдность, можетъ стать источникомъ множества страданій и золъ. Но въ богатствѣ есть, очевидно, двѣ

стороны по которымъ оно можетъ считаться зломъ. Оно можетъ быть зломъ потому что тотъ избытокъ которымъ пользуются одни составляетъ необходимое котораго лишены другіе, и такимъ образомъ оно есть зло относительно этихъ другихъ; съ другой стороны, оно можетъ быть зломъ для самого владѣльца, развивая въ немъ множество искусственныхъ потребностей, удовлетвореніе которыхъ можетъ доставить лишь краткое удовольствіе, но губительно отзывается на нравственной его личности.

И то и другое несомнѣнно возможно, но вопросъ не въ томъ возможно ли, а въ томъ необходимо ли это.

Представимъ себѣ человѣка одного на необитаемомъ островѣ. Здѣсь обыкновенное понятіе о богатствѣ, почти всегда основанное на сравненіи состоянія одного человѣка съ состояніемъ другихъ, значительно измѣняется. Разомъ исчезаютъ всѣ мотивы заставляющіе человѣка разсматривать вещи не съ точки зрѣнія собственнаго блага, но въ отношеніи къ другимъ людямъ. Однако, поло-

женіе этого человѣка можетъ быть весьма различно: онъ можетъ попасть на островъ гдѣ ему будетъ постоянно грозить голодная смерть, и онъ только благодаря величайшимъ усиліямъ будетъ избѣгать ея; но можетъ попасть и на островъ гдѣ найдетъ изобиліе плодовъ и дичи, такъ что ему почти не придется работать для пропитанія; у него, наконецъ, отъ крушенія можетъ остаться множество предметовъ благодаря которымъ онъ обставитъ жизнь свою удобно и почти роскошно.

Спрашивается, которое изъ этихъ положеній человѣкъ долженъ считать наилучшимъ?

Конечно, послѣднее, такъ какъ здѣсь уже нѣтъ никакихъ постороннихъ соображеній которыя могли бы сдѣлать пользованіе его богатствомъ почему-либо нравственно нежелательнымъ; отсюда же слѣдуетъ ясно что богатство не можетъ считаться зломъ само по себѣ, а только потому что богатство одного есть или можетъ быть причиной бѣдности для другихъ.

Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Двѣ-

ствительно ли тотъ излишекъ имущества которымъ пользуются богатые обуславливаетъ соотвѣтствующій недостатокъ у бѣдныхъ? Это было бы такъ только въ томъ случаѣ еслибы количество имуществъ было величиной постоянною, такъ что чѣмъ больше доля однихъ, тѣмъ меньше должна была бы быть доля другихъ. Ничего подобнаго нѣтъ на самомъ дѣлѣ, и увеличеніемъ имущества однихъ совсѣмъ не обуславливается уменьшеніе его у другихъ (это справедливо, и то лишь въ извѣстной мѣрѣ, относительно поземельной собственности). Вообще же наблюдается совершенно обратное явленіе, и присутствіе крупныхъ капиталовъ не только не уменьшаетъ абсолютнаго благосостоянія остальныхъ жителей, а скорѣе увеличиваетъ его, такъ какъ даетъ возможность болѣе широкой промышленности и новыхъ заработковъ для остальныхъ жителей. Доходъ англійскаго рабочаго въ нѣсколько разъ больше дохода русскаго крестьянина, несмотря на то что въ Англїи, занимающей пространство одной нашей губерніи, сосредоточены капиталы превышающіе

въ нѣсколько разъ капиталы всей Россіи.

Очевидно, слѣдовательно, что между бѣдностью однихъ и богатствомъ другихъ совсѣмъ не существуетъ той связи которую видитъ графъ Толстой.

Если въ Лондонѣ есть масса людей умирающихъ съ голоду, то это зависитъ никакъ не оттого что тамъ много роскоши, потому что еще чаще умираютъ съ голода въ полудикихъ странахъ, гдѣ самая одежда считается роскошью. Между богатствомъ и нищетой не только нѣтъ того отношенія доказать которое старается графъ Толстой, но скорѣе существуетъ обратное; только сосредоточеніе крупныхъ капиталовъ въ рукахъ частныхъ лицъ или правительственныхъ учрежденій дѣлаетъ возможнымъ широкую благотворительность; тамъ гдѣ нѣтъ нѣкотораго излишка у однихъ, нѣтъ и возможности покрыть нищету другихъ.

Въ экономическомъ отношеніи капиталъ представляетъ собою силу только тогда когда онъ достигаетъ нѣкотораго предѣла и сосредоточивается въ однѣхъ рукахъ. Тамъ гдѣ такое средоточіе не

существуетъ само собою, оно достигается искусственно въ формѣ юридическихъ лицъ, посредствомъ акціонерныхъ обществъ. Раздробите капиталъ ниже известнаго минимума, и онъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ расходуется совершенно непроизводительно. Но всѣ эти соображенія, имѣющія значеніе съ точки зрѣнія государственной и общественной, нисколько не ослабляютъ значенія нравственнаго закона любви и состраданія. Нечего опасаться что всѣ капиталисты вдругъ раздадутъ все имѣніе свое нищимъ, такъ что экономическая дѣятельность въ обществѣ прекратится. Сила человѣческаго эгоизма настолько велика что какъ бы ни была горяча и убѣдительна проповѣдь противъ него, она едва можетъ вырвать у него самыя скромныя уступки.

Почему же горячія страницы съ которыми графъ Толстой обратился къ богатымъ предъ московскою переписью 1882 года онъ признаетъ потомъ дѣломъ глупымъ и гадкимъ?

„Кто такой я“, спрашиваетъ онъ, „я тотъ который хочетъ помогать людямъ?“

Я хочу помогать людямъ и я, вставъ въ 12 часовъ послѣ вина съ четырьмя свѣчами, разслабленный, изнѣженный, требующій помощи и услугъ сотенъ людей, прихожу помогать кому же? Людямъ которые встаютъ въ пять, спятъ на доскахъ, питаются капустой съ хлѣбомъ, умѣютъ пахать, косить, насадить топоръ, тесать, запрягать, шить, людямъ которые и силой, и выдержкой во сто разъ сильнѣе меня, и я имъ хочу помогать! Чтò же кромѣ стыда я могъ испытывать, входя въ общеніе съ этими людьми? Самый слабый изъ нихъ пьяница, житель Ржанова дома, тотъ котораго они называютъ лѣнтяемъ, во сто разъ трудолюбивѣе меня.“

Едва ли однако причина неудачи попытки графа Толстаго лежитъ дѣйствительно въ невозможности для людей нерабочихъ дѣлать добро людямъ рабочимъ, хотя совершенно справедливо что дѣланіе добра не состоитъ только въ даваніи денегъ, и даваніе денегъ можетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ прямо оказаться зломъ. Если я въ буквальномъ смыслѣ брошу деньги въ толпу нищихъ,

то очень возможно что при этомъ раздавать или искалѣчать кого-нибудь, а полученной нищими суммы едва хватитъ на то чтобы прокормить ихъ нѣсколько дней. Но изъ этого не слѣдуетъ чтобы матеріальная помощь, тамъ гдѣ она дѣйствительно нужна и возможна, не была добрымъ дѣломъ.

Вообще благотворительность можетъ быть такъ же разнообразна какъ людскія страданія и людскіе пороки: и врачъ который вылѣчиваетъ больного, и священникъ который утѣшаетъ умирающаго, и пожарный который спасаетъ людей изъ огня, и человѣкъ подающій кусокъ хлѣба голодающему—дѣлаютъ доброе дѣло. Но большинство добрыхъ дѣлъ таково что въ нихъ нельзя съ такою ясностію, какъ въ указанныхъ примѣрахъ, видѣть въ чемъ состоитъ или должно состоять благо, и чтобы сдѣлать не кажущееся, а дѣйствительное добро, людямъ надо дѣйствительно знать ихъ, а не достаточно случайной и кратковременной встрѣчи съ ними. Въ этомъ и лежала слабая сторона задуманнаго графомъ Толстымъ.

Онъ видѣлъ что недостаточно да-

вать деньги, а необходимо болѣе близкое общеніе съ бѣдными, но не замѣтилъ что перепись Москвы едва ли не самый неудобный способъ для начала такого общенія. Правда что *всѣ* бѣдные Москвы должны были въ очень короткое время пройти предъ счетчиками; но это обстоятельство и должно было не облегчить, а сдѣлать невозможнымъ осуществленіе задуманнаго графомъ Толстымъ, и скоро ему пришлось убѣдиться въ этомъ.

Графъ Толстой самъ замѣчаетъ что только входя въ Ржановъ домъ онъ понялъ несполнимость затѣяннаго имъ.

„Я понялъ тутъ въ первый разъ, говоритъ онъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ которымъ я хотѣлъ благотворствовать, кромѣ того времени когда они, страдая отъ холода и голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время которое они на что-нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждой сутки, есть еще цѣлая жизнь о которой я прежде не думалъ. Я понялъ здѣсь въ первый разъ что всѣ эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и

насытитесь, должны еще жить какъ-нибудь тѣ 24 часа каждыя сутки которыя имъ приходится прожить такъ же какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться. Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ что дѣло которое я затѣвалъ не можетъ состоять въ томъ только чтобы накормить и одѣть тысячу людей, какъ бы накормить и загнать подъ крышу тысячу барановъ, а должно состоять въ томъ чтобы сдѣлать доброе людямъ. И когда я понялъ что каждый изъ этой тысячи людей такой же точно человекъ, съ такимъ же прошедшимъ, съ такими же страстями и заблужденіями, съ такими же мыслями, такими же вопросами—такой же человекъ какъ и я, то затѣянное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно что я почувствовалъ свое безсиліе; но дѣло было начато и я продолжалъ его.

„Я нѣсколько разъ до окончательнаго обхода былъ во Ржановомъ домѣ и всякій разъ происходило одно и то же:

меня осаждала толпа просящихъ людей, въ массѣ которыхъ я совершенно терялся. Я чувствовалъ невозможность что-нибудь сдѣлать, потому что ихъ было слишкомъ много и потому что чувствовалъ недоброжелательство къ нимъ за то что ихъ такъ много; но кромѣ этого, и каждый изъ нихъ порознь не располагалъ къ себѣ. Я чувствовалъ что каждый изъ нихъ говоритъ мнѣ неправду или не всю правду и видѣть во мнѣ только кошель изъ котораго можно вытянуть деньги. И очень часто мнѣ казалось что тѣ самыя деньги которыя онъ выманиваетъ изъ меня не улучшать, а ухудшать его положеніе. Чѣмъ чаще я ходилъ въ эти дома, чѣмъ въ большее общеніе входилъ съ тамошними людьми, тѣмъ очевиднѣе мнѣ становилась невозможность что-нибудь сдѣлать, но я все не отставалъ отъ своей затѣи до послѣдняго ночнаго обхода переписи.“

О результатѣ этого обхода, приведшаго графа Толстаго къ заключенію о невозможности затѣянной имъ благотворительности, мы уже говорили. Но сто-

ить замѣтить что нѣкоторая неестественность въ задуманномъ способѣ благотворительности чувствовалась не только имъ самимъ и лицами уклонившимися отъ участія въ ней, но и тѣми которые взялись помогать ему.

„Свѣтскіе знакомые мои одѣлись особенно, говорятъ графъ Толстой, въ какіе-то охотничьи курточки и высокіе дорожные сапоги, въ костюмъ въ которомъ они ѣздили въ дорогу, на охоту и который, по ихъ мнѣнію, подходилъ къ поѣздкѣ въ ночлежный домъ. Они взяли съ собой особенныя записныя книжки и необыкновенные карандаши. Они находились въ томъ особенно возбужденномъ состояніи въ которомъ собираются на охоту, на дуэль или на войну. На нихъ ясное была видна глупость и фальшь нашего положенія; но и всѣ мы остальные были въ такомъ же фальшивомъ положеніи.“

Мы такимъ образомъ ясно видимъ изъ собственнаго разказа графа Толстаго причину неудачи задуманнаго имъ дѣла, и нѣтъ надобности прибѣгать къ болѣе сложнымъ объясненіямъ. Помочь

всѣмъ было невозможно, а кому помочь, неизвѣстно.

Такъ выясняется неразрѣшимость задачи поставленной графомъ Толстымъ предъ началомъ переписи.

Человѣческія и христіанскія отношенія оказались невозможными потому что съ одной стороны были отдѣльныя личности, а съ другой—толпа.

Конечно, и въ подобныхъ случаяхъ возможна еще благотворительность, но уже совсѣмъ не та которую имѣетъ въ виду графъ Толстой: возможна преимущественно благотворительность общественная, въ которой на первомъ планѣ стоитъ не сердце, а разумъ, гдѣ имѣется въ виду помощь не отдѣльнымъ лицамъ, не Сидору, Ивану или Петру, а извѣстнымъ категоріямъ лицъ, слѣпымъ, голодающимъ, сиротамъ и т. п. Здѣсь устанавливаются нѣкоторые признаки болѣе или менѣе внѣшніе, но тѣмъ не менѣе необходимые, чтобы сдѣлать возможною подобную благотворительность.

Если же хотѣть дѣлать добро отдѣльнымъ людямъ, то необходимо и знать

ихъ нужды какъ отдѣльныхъ людей, что, очевидно, невозможно въ массѣ. Я не имѣю въ виду сравнивать здѣсь значеніе общественной и частной благотворительности. Ихъ сфера и цѣль въ большинствѣ случаевъ совершенно различны. Насколько одна можетъ охватывать зло шире, настолько же другая можетъ глубже проникнуть къ его источнику.

Но для частныхъ лицъ истинная благотворительность, составляющая требованіе нравственнаго закона, есть преимущественно та которая вытекаетъ изъ чувства состраданія и потому имѣетъ въ виду отдѣльныхъ лицъ. Чувство состраданія доступно и понятно намъ только тогда когда мы видимъ или живо представляемъ себѣ страдающаго, и видъ близкаго страданія одного человѣка вызываетъ его въ гораздо сильнѣйшей мѣрѣ, чѣмъ отвлеченныя знанія о мукахъ тысячъ людей которыхъ мы не знаемъ.

Вотъ почему, я думаю, можно принять за общее правило что частная благотворительность должна какъ можно больше сосредоточиваться, а не разбрасы-

ваться, и лучше дѣйствительно помочь одному человѣку чѣмъ десятерымъ оказывать пособіе послѣ котораго они въ скоромъ времени окажутся въ томъ же или еще въ худшемъ положеніи чѣмъ прежде.

Къ этому заключенію приходитъ, по-видимому, и графъ Толстой, передавая свой разговоръ съ Сютеевымъ по поводу переписи.

„Наговорившись, я обратился къ нему съ вопросомъ что онъ думаетъ про это.

„— Да все это пустое дѣло, сказалъ онъ.

„— Отчего?

„— Да вся ваша эта затѣя пустая и ничего изъ этого добра не выйдетъ, — съ убѣжденіемъ повторилъ онъ.

„— Какъ не выйдетъ? Отчего же пустое дѣло что мы поможемъ тысячамъ, хоть сотнямъ несчастныхъ? Развѣ дурно по-евангельски голаго одѣть, голоднаго накормить?

„— Знаю, знаю, да не то вы дѣлаете. Развѣ такъ помогать можно? Ты идешь, у тебя попросить человѣкъ 20 копѣекъ. Ты ему дашь. Развѣ это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его,

а это что же ты далъ? Только значить „отвяжись“.

На замѣчаніе графа Толстаго что въ одной Москвѣ можетъ-быть двадцать человѣкъ умирающихъ съ голода и холода, Сютаевъ спрашиваетъ:

„— Адворовъ у насъ въ Россіи въ одной сколько? Милліонъ будетъ?

„— Ну такъ что жь!

„— Что жь, и глаза его заблестѣли и онъ оживился.—Ну, разберемъ ихъ по себѣ. Я не богатъ, а сейчасъ двоихъ возьму. Вонъ малаго ты взялъ на кухню; я его звалъ къ себѣ, онъ не пошелъ. Еще десять разъ столько будь, всѣхъ разберемъ, ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдемъ вмѣстѣ; онъ будетъ видѣть какъ я работаю, будетъ учиться какъ жить, и за чашку вмѣстѣ за однимъ столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня услышитъ и отъ тебя. Вотъ это милостыня, а то это ваша община совсѣмъ пустая.“

Значеніе *духовной* милостыни о которой говорится здѣсь конечно выше чѣмъ значеніе милостыни только *матеріальной*; но не всякій, еслибъ и

хотѣлъ, могъ бы подать ее, потому что не всякій способенъ учить и словомъ и дѣломъ, и потому нѣтъ никакого основанія слишкомъ умалять значенія матеріальной помощи, тамъ гдѣ она вытекаетъ изъ чувства состраданія, а не изъ невысказаннаго желанія „отвяжись“.

Доказательство того какъ велико можетъ быть иногда значеніе весьма скромной и исключительно матеріальной помощи, мы можемъ найти въ самой статьѣ графа Толстаго, хотя только на одномъ примѣрѣ. Разказъ настолько простъ, характеристиченъ и ярокъ что я позволю себѣ привести его.

„Въ той ночлежной квартирѣ, въ нижнемъ этажѣ, въ 32мъ номерѣ, въ которомъ ночевалъ мой пріятель, въ числѣ разныхъ перемѣняющихся ночлежниковъ, мужчинъ и женщинъ, за 5 коп. сходящихся другъ съ другомъ, ночевала и прачка, женщина лѣтъ 30, бѣлокурая, тихая и благообразная, но болѣзненная. Хозяйка квартиры любовница лодочника. Лѣтомъ сожителъ ея держитъ лодку, а зимой они живутъ сдачей квартиръ

ночлежникамъ по 3 коп. безъ подушки, 5 коп. съ подушкой. Прачка нѣсколько мѣсяцевъ жила здѣсь и была тихая женщина, но въ послѣднее время ее не взлюбили за то что она кашляла и мѣшала жильцамъ спать. Особенно 80лѣтняя старушка, полусумашедшая, тоже постоянная жильчка этой квартиры, возненавидѣла прачку и поѣдомъ ѣла ее за то что она спать не даетъ и всю ночь перхаетъ какъ овца. Прачка молчала, она задолжала за квартиру и чувствовала себя виноватою и потому ей надо было быть тихою. Она все рѣже и рѣже могла ходить на работу: силъ не хватало и потому не могла выплачивать хозяйкѣ. Послѣднюю недѣлю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всѣмъ, особенно старухѣ, тоже не выходившей, жизнь своею перхотой. Четыре дня тому назадъ хозяйка отказала прачкѣ отъ квартиры. За ней уже набралось шесть гривенъ, и она не платила ихъ, и не предвидѣлось надежды ихъ получить, а койки всѣ были заняты и жильцы жаловались на перхоту прачки.

„Когда хозяйка отказала прачкѣ и сказала чтобъ она выходила изъ квартиры, коли не отдаетъ денегъ, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на дворъ. Прачка ушла, но черезъ часъ вернулась, и у хозяйки не хватило духу выгнать ее опять. И второй и третій день хозяйка не выгоняла ее. „Куда же „я пойду?““ говорила прачка. Но на третій день любовникъ хозяйки, человекъ московскій и знающій порядки и обхожденіе, пошелъ за городовымъ. Городовой съ саблей и пистолетомъ на красномъ шнуркѣ пришелъ въ квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывелъ прачку на улицу.

„Былъ ясный, солнечный, но морозный мартовскій день. Ручьи текли, дворники кололи ледъ. Сани извозчиковъ подпрыгивали по обледевшему снѣгу и визжали по камнямъ. Прачка пошла въ гору по солнечной сторонѣ, дошла до церкви и сѣла, тоже на солнечной сторонѣ, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышкомъ мороза, прачкѣ стало холодно и жутко. Она поднялась

и потащилась... Куда? Домой, въ тотъ единственный домъ въ которомъ она жила въ послѣднее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла къ воротамъ, завернула въ нихъ, поскользнулась, ахнула и упала.

„Прошелъ одинъ, прошелъ другой чело-
вѣкъ. „„Должно, пьяная.““ Прошелъ еще
человѣкъ, спотыкнулся на прачку и
сказалъ дворнику: „„Какая-то у васъ
„пьяная въ воротахъ лежитъ, чуть голо-
„ву себѣ не проломилъ черезъ нее; убе-
„рите вы ее, что ли?““

„Дворникъ пошелъ. Прачка умерла.
Вотъ что разказалъ мой пріятель... И
вотъ, отслушавъ разказъ моего пріате-
ля, я пошелъ въ участокъ, съ тѣмъ чтобъ
оттуда пойти въ Ржановъ домъ узнать
подробнѣе объ этой исторіи прачки. По-
года была прекрасная, солнечная; опять
сквозь звѣзды ночнаго мороза, въ тѣ-
ни, виднѣлась бѣгушая вода, а на при-
парѣ солнца все таяло и вода бѣжала.
Отъ рѣки что-то шумѣло. Деревья Не-
скучнаго Сада спяли черезъ рѣку; по-
рыжѣвшіе воробыи, незамѣтные зимой,
такъ и бросались въ глаза своимъ ве-

сельемъ; люди какъ будто тоже хотѣли быть веселы, но у нихъ у всѣхъ было слишкомъ много работы. Слышались звоны колоколовъ, и на фонѣ этихъ сливающихся звуковъ слышались изъ казармъ звуки пальбы, свистъ нарѣзныхъ пуль и чмоканье ихъ о мишень...

„Въ Ржановомъ домѣ я въ 32 номерѣ засталъ уже чтеніе дьячка надъ покойницей. Ее внесли на бывшую ея же койку и жильцы, все голыши, собрали деньги на поминки, на гробъ и на саванъ, а старухи убрали ее и положили...

„Я взглянулъ на покойницу. Всѣ покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна въ своемъ гробу; чистое блѣдное лицо, съ закрытыми выпуклыми глазами, со ввалившимися щеками и русыми, мягкими волосами надъ высокимъ лбомъ; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И въ самомъ дѣлѣ, если живые не видятъ, мертвые удивляются.“

Вотъ одинъ изъ тѣхъ простыхъ и правдивыхъ разказовъ которые сами

по себѣ составляютъ уже доброе дѣло и дѣйствіе которыхъ, пробуждая чувство состраданія, можетъ быть сильнѣе чѣмъ всѣ теоретическія нападки на богатство и роскошь.

Но разсматривая тотъ случай который далъ ему поводъ, что же мы видимъ? Не то чтобы матеріальная благотворительность была бесполезна или невозможна, а то что она трудна. И въ самомъ дѣлѣ, главная трудность состоитъ не въ томъ чтобы помочь *такимъ* бѣднымъ, а въ томъ чтобы найти ихъ.

Что же значитъ, вообще говоря, дѣлать добро людямъ? По возможности облегчать ихъ страданія и увеличивать ихъ радости; но отсюда слѣдуетъ что, какъ многочисленны источники человеческихъ страданій и радостей, такъ же разнообразны могутъ быть и благодѣянія, и нѣтъ возможности свести ихъ къ одной формѣ, хотя источники почти всегда одинъ и тотъ же: чувство любви и состраданія. Однако, чувство это не всегда бываетъ достаточно чтобы поступокъ нашъ былъ истиннымъ

благодѣяніемъ, такъ какъ для того чтобы сдѣлать добро людямъ, не достаточно хотѣть его сдѣлать, а надо еще знать въ чемъ оно состоитъ.

Это приводитъ насъ къ вопросу: въ чемъ счастье? Но о немъ мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ.

VI.

Физическій трудъ какъ нравственная обязанность и какъ необходимое условіе счастія.— Смѣшеніе понятій средства и цѣли въ теоріи графа Л. Н. Толстаго.

„Да прежде чѣмъ дѣлать добро, мнѣ надо стать внѣ зла, въ такія условія въ которыхъ можно перестать дѣлать зло. А то вся жизнь моя зло,“ говоритъ графъ Толстой.

„Я чувствовалъ что моя жизнь дурна и что такъ жить нельзя. Но изъ того что моя жизнь дурна и такъ нельзя жить, я не вывелъ тотъ простой и ясный выводъ что надо улучшить свою жизнь и жить лучше, а сдѣлалъ тотъ страшный выводъ что для того чтобы мнѣ было жить хорошо, надо исправить жизнь другихъ. Я жилъ въ городѣ и хотѣлъ исправить жизнь людей живущихъ въ городѣ, но скоро убѣдился что я этого никакъ не могу сдѣлать.“

Тотъ выводъ который дѣлаетъ въ

этихъ строкахъ графъ Толстой можетъ-быть не такъ безспоренъ какъ это кажется на первый взглядъ, и первое его заключеніе не такъ страшно какъ онъ это думаетъ.

Исправлять жизнь другихъ, потому что чувствуешь что своя нехороша, вообще говоря, было бы нелѣпо. Но дѣло въ томъ что то что въ данномъ случаѣ казалось нехорошо въ жизни, было именно ея несоотвѣтствіе съ жизнью другихъ, ея роскошь сравнительно съ бѣдностью другихъ—словомъ, неравенство. Но для того чтобы сравнять двѣ величины есть два средства: можно или уменьшить бѣольшую изъ нихъ или увеличить меньшую.

Поэтому въ первоначальномъ заключеніи графа Толстаго не было ничего нелѣпаго, оно могло только быть неосуществимо въ дѣйствительности по причинамъ на которыя мы уже указывали въ предшествующей главѣ.

По мнѣнію же графа Толстаго, причины эти были нѣсколько иныя.

„Первая причина была скопленіе люда въ городахъ и поглощеніе въ нихъ богатствъ деревни. Стоить только человѣку

не желать пользоваться чужимъ трудомъ посредствомъ владѣнія землей и деньгами и потому по силамъ самому удовлетворять своимъ потребностямъ, чтобъ ему никогда въ голову не пришло уѣхать изъ деревни, въ которой легче всего можно удовлетворить своимъ потребностямъ, въ городъ, гдѣ все есть произведеніе чужаго труда, гдѣ все надо купить. И тогда въ деревнѣ человѣкъ будетъ въ состояніи помогать нуждающимся и не испытаетъ того чувства безпомощности которое я испыталъ въ городѣ, желая помогать людямъ не своимъ, а чужимъ трудомъ.“

Графъ Толстой, повидимому, совершенно не замѣчаетъ нѣкотораго противорѣчія въ своемъ предположеніи: то что онъ говоритъ о легкости удовлетворенія потребностей въ деревнѣ собственнымъ трудомъ, совершенно справедливо, если разумѣть *свою* деревню или *свою* землю, хотя бы въ размѣрѣ трехъ десятинъ; но если не должно владѣть землей, положеніе сразу мѣняется, — и въ деревнѣ, точно такъ же какъ и въ городѣ, прежде всего приходится *продать свой трудъ чтобы купить все остальное*. А

въ деревнѣ это не рѣдко бываетъ труднѣе чѣмъ въ городѣ.

Вотъ что значать тѣ слова „кормиться въ городѣ“ которыя графъ Толстой находитъ похожими на шутку. „Какъ изъ деревни, то-есть изъ тѣхъ мѣстъ гдѣ и лѣса, и луга, и хлѣба, и скоть, гдѣ все богатство земли, изъ этихъ мѣстъ люди приходятъ кормиться въ то мѣсто гдѣ нѣтъ ни деревъ, ни травы, ни земли даже, а только одинъ камень и пыль? Что же значать эти слова: „кормиться въ городѣ“, которыя такъ постоянно употребляются и тѣми которые кормятся, и тѣми которые кормятъ какъ что-то вполне ясное и понятное?“

Эти слова значать что для человѣка который не имѣетъ въ деревнѣ земельной собственности или, по крайней мѣрѣ, участія въ земельномъ владѣніи найти тамъ заработокъ иногда такъ же трудно, если не труднѣе, чѣмъ въ городѣ. Впрочемъ, вопросъ о стремленіи нѣкоторой части сельскаго населенія въ города сводится къ вопросу о раздѣленіи труда, о которомъ мы уже говорили выше.

„Вторая причина“, продолжаетъ графъ Толстой, „была раздѣленіе богатыхъ съ бѣдными. Стоить только человѣку не желать имѣть земли и денегъ, и человѣкъ будетъ поставленъ въ необходимость удовлетворять самъ своимъ потребностямъ, и тотчасъ же невольно разрушится та стѣна которая отдѣляла его отъ рабочаго народа и онъ получитъ возможность помогать ему.“

Какъ въ предшествующей, такъ и въ этой фразѣ не совсѣмъ ясны слова *не желать* имѣть земли и домъ. Что значить это „не желать“? Слѣдуетъ ли его разумѣть въ смыслѣ дѣйствительнаго неимѣнія, или только нежеланія имѣть, то-есть щедрости и нестяжательности?

Но въ первомъ случаѣ, помогать будетъ некому, такъ какъ тотъ кто ничего не имѣетъ не можетъ и дать ничего, кромѣ собственнаго труда, а трудъ одного неумѣлаго и непривычнаго работника немного будетъ значить тамъ гдѣ работаютъ сотня или двѣ умѣлыхъ; во второмъ же случаѣ, стѣна раздѣляющая богатаго отъ бѣднаго будетъ сто-

ять попрежнему, пока не изсякнетъ богатство.

Что касается третьей причины, то она такъ субъективна что трудно сказать насколько она можетъ имѣть общее значеніе.

„Третья причина была стыдъ, основанный на безнравственности моего обладанія тѣми деньгами которыми я хотѣлъ помогать людямъ. Стоить человѣку не желать пользоваться чужимъ трудомъ, и у него никогда не будетъ тѣхъ лишнихъ денегъ присутствіе которыхъ у меня вызывало въ людяхъ требованія которымъ я не могъ удовлетворить, а во мнѣ чувство сознанія своей неправоты.“

Тѣ же причины которыя мѣшаютъ дѣлать добро другимъ людямъ, по мнѣнію графа Толстаго, составляютъ и главную помѣху собственному счастью.

„Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ условій счастья есть жизнь такая при которой не нарушена связь человека съ природой, то-есть жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, об-

щеніе съ землей, растеніями, животными. Всегда всѣ люди считали лишеніе этого большимъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сплнѣ всего чувствуютъ это лишеніе. Посмотрите же на жизнь людей живущихъ по ученію міра. Чѣмъ бѣльшаго они достигли успѣха по ученію міра, тѣмъ больше они лишены этого условія счастья. Чѣмъ выше то мірское счастье, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дикихъ и домашнихъ животныхъ. Многіе изъ нихъ, почти всѣ женщины, доживаютъ до старости, разъ или два въ жизни увидавъ восходъ солнца и утро, и иногда не видавъ полей и лѣсовъ иначе какъ изъ коляски или изъ вагона и не только не посѣявъ и не посадивъ чего-нибудь, не вскормивъ и не воспитавъ коровы, лошади, курицы, но не имѣя даже понятія о томъ какъ рождаются, растутъ и живутъ животныя. Люди эти видятъ только ткани, камни, дерево, обдѣланные людскимъ трудомъ, и то не при свѣтѣ солнца, а при искусственномъ свѣтѣ; слышать они только звуки ма-

шинъ, экипажей, пушекъ, музыкальныхъ инструментовъ; обоняють они спиртовые духи и табачный дымъ; подъ ногами и руками у нихъ только ткани и дерево; ѣдятъ они, по слабости своихъ желудковъ, большею частию не свѣжее и вонючее. Переѣзды ихъ съ мѣста на мѣсто не спасаютъ ихъ отъ этого лишенія. Они ѣдутъ въ закрытыхъ ящикахъ. И въ деревнѣ, и за границей, куда они уѣзжаютъ, у нихъ тѣ же камни и дерево подъ ногами, тѣ же гардины скрывающія отъ нихъ свѣтъ солнца; тѣ же лакеи, кучера, дворники, не допускающіе ихъ до общенія съ землей, растеніями и животными. Гдѣ бы они ни были, они лишены, какъ заключенные, этого условія счастія. Какъ заключенные утѣшаются травкой выросшею на тюремномъ дворѣ, паукомъ, мышью, такъ эти люди утѣшаются иногда чахлыми комнатными растеніями, попугаемъ, собачкой, обезьяной, которыхъ все-таки растятъ и кормятъ не они сами“.

Въ этихъ нападкахъ на искусственность городской жизни, которая лиша-

еть людей общенія съ природой, графъ Толстой можетъ-быть и правъ, но онъ упускаетъ изъ виду что тѣ люди которые добровольно отказываются отъ такого общенія большею частію къ нему неспособны.

Для нихъ лѣса не говорили
И ночь въ звѣздахъ нѣма была.

Имъ доступнѣе условная красота тканей, позолоты и драгоценныхъ камней которыми они окружены, чѣмъ живая прелесть безконечныхъ лѣсовъ, переливовъ зарп или величіе горъ и подножія которыхъ

Какъ дымъ кадильный
Синѣя выются облака.

Если иногда они и считаютъ нужнымъ любоваться этими прелестями или расписаться „Et moi aussi j'aime la nature“, вмѣстѣ съ Кобылятниковымъ, то дѣлаютъ это большею частію изъ приличія, потому что это принято, но общеніе съ природой для нихъ не есть элементъ счастья.

„Другое условіе счастья есть трудъ; во первыхъ, любимый и свободный трудъ,

вовторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій успокаивающій сонъ. Опять, чѣмъ бѣльшаго по-своему счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другого условія счастья.“

Трудъ, если подъ нимъ разумѣть противоположность праздности, составляетъ, несомнѣнно, одинъ изъ элементовъ счастья, такъ какъ съ праздностью почти всегда неразрывно связана скука. Но трудъ для графа Толстаго имѣетъ, какъ мы уже видѣли, совсѣмъ особое значеніе, такъ что многое изъ того что другіе признаютъ трудомъ, для него представляется праздною забавой, къ тому же трудъ, особенно трудъ физическій, составляетъ, по его теоріи, не только условіе счастья, но и нравственнаго совершенства человѣка.

„Третье несомнѣнное условіе счастья есть семья. И опять чѣмъ дальше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ.“ Со-

вершено справедливо что трудно себѣ представить полное счастье внѣ семьи, и библейское „не добро быть человеку едину“ не потеряло своей силы и теперь, когда приходится оставаться одному среди миллионовъ себѣ подобныхъ. Но если семейное счастье составляетъ идеаль человеческой жизни, семейныя дразги, если не полный раздоръ, представляютъ, къ сожалѣнію, ея норму. Что же касается того что чѣмъ выше общественное положеніе людей, тѣмъ менѣе имъ доступны семейныя радости, то эта иллюзія менѣе всего понятна въ человѣкѣ близко знакомомъ съ народною жизнью п въ авторѣ *Власти тьмы*. Прелюбодѣяніе, дѣтоубійство, отношеніе къ женщинѣ какъ къ самкѣ или къ рабочему скоту, вотъ что мы встрѣчаемъ въ деревнѣ въ собственномъ описаніи графа Толстаго. Положимъ, картина эта слишкомъ мрачна, положимъ, и въ деревнѣ не всѣ повивальныя бабки занимаются отравленіемъ, и не всякій отецъ согласится на дѣтоубійство; но и въ ея дѣйствительномъ современномъ положеніи трудно

выставлять нашу деревню идеаломъ семейной жизни.

„Четвертое условіе счастья есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ высшей степени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастья. Чѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей составляющіе этотъ заколдованный кругъ изъ котораго нѣтъ выхода.“

Что касается свободнаго любовнаго общенія со всѣми разнообразными людьми міра, то не говоря объ его физической невозможности, любовное общеніе съ Папуасами едва ли могло бы доставить большое удовольствіе даже самому невзыскательному Европейцу. Затѣмъ, совершенно справедливо что чѣмъ выше общественное положеніе человѣка, тѣмъ малочисленнѣе кругъ людей къ которому онъ принадлежитъ; но такъ какъ время каждаго ограничено, то и этого круга обыкновенно болѣе чѣмъ доста-

точно чтобы поглотить его вполнѣ, если онъ захочетъ предоставить себя въ распоряженіе равныхъ.

Что касается умственного и нравственного развитія лицъ стоящихъ на высшихъ ступеняхъ общества, о которыхъ такъ презрительно отзывается графъ Толстой, то здѣсь, очевидно, есть и нѣкоторое недоразумѣніе: о нравственномъ развитіи судить чрезвычайно трудно. Но нравственные качества человѣка не зависятъ отъ его случайнаго имущественнаго и общественнаго положенія, хотя проявленія ихъ при различныхъ условіяхъ настолько мѣняются что сравненіе ихъ становится почти невозможнымъ. Тотъ же человѣкъ который въ нуждѣ скромнѣе до униженности, въ богатствѣ становится заносчивѣе; щедрость превращается въ расточительность, бережливость въ скупость; но въ большинствѣ случаевъ богатство не рождаетъ, а только даетъ возможность проявиться наклонностямъ которыя сдерживались нуждой. Есть, конечно, такіе пороки которые развиваются благодаря богатству; но вѣдь, то же самое можно сказать и про

бѣдность: стоить только вспомнить нѣкоторыя описанія Ржанова дома самимъ графомъ Толстымъ. Вообще сравненіе нравственнаго уровня людей дѣло настолько мудреное что въ немъ можно найти любой результатъ, смотря по тому какой будешь искать, и нравственный уровень среды Левина или даже Бронскаго, я думаю, окажется не ниже чѣмъ той въ которой происходитъ дѣйствіе *Власти Тьмы*.

За то относительно умственнаго уровня сличеніе гораздо легче и убѣдительнѣе. Мы не говоримъ, разумѣется, объ умственныхъ *способностяхъ* которыя такъ же какъ и нравственныя, будучи врожденными, независимы отъ среды, а объ уровнѣ развитія, иными словами объ уровнѣ образованія.

Но что такое высшее или низшее общество? Какъ опредѣлить различные слои его и ихъ границы? Графъ Толстой дѣлаетъ это весьма наглядно.

„Для мужика и его жены, говоритъ онъ, открыто общеніе со всѣмъ міромъ людей, съ которыми онъ отъ Архангельска до Астрахани, не дожидаясь ви-

зита и представленія, тотчасъ же входитъ въ самое близкое и братское общеніе. Для чиновника съ его женой есть сотни людей равныхъ ему, но высшіе не допускаютъ его до себя, а нисшіе всѣ отрѣзаны отъ него. Для свѣтскаго, богатаго человѣка и его жены есть десятки свѣтскихъ семей; остальное все отрѣзано отъ нихъ. Для министра и богача и ихъ семей—есть одинъ десятокъ такихъ же важныхъ или богатыхъ людей какъ и они. Развѣ это не тюремное заключеніе, при которомъ возможно общеніе только съ двумя, тремя тюремщиками?“

Замкнутость кружковъ стоящихъ на разныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы, конечно, существуетъ, и есть нѣкоторая комичность въ той заботливости съ которою они охраняютъ свой кружокъ отъ вторженія низшихъ элементовъ; но, вопервыхъ, эта замкнутость, кромѣ тщеславія, обусловливается довольно естественною связью болѣе обшихъ интересовъ и привычекъ, а во вторыхъ, на высшихъ ступеняхъ общества она существуетъ едва ли не менѣе чѣмъ на всѣхъ остальныхъ.

Хотя графъ Толстой и утверждаетъ что чѣмъ выше въ общественномъ положеніи, тѣмъ ниже по нравственному и умственному уровню люди составляющие этотъ кругъ, однако едва ли и онъ рѣшится утверждать что люди окружавшіе Перикла или Августа были самого низкаго умственнаго уровня. И еслибъ Александръ не былъ сыномъ Филиппа, едва ли бы у него наставникомъ былъ Аристотель.

Все что дѣйствительно выдается по силѣ ума и характера неизбѣжно, сознательно или безсознательно, примыкаетъ къ высшимъ слоямъ общества, и самые рѣшительные сторонники равенства въ жизни силою вещей имѣютъ дѣло съ такою общественною средой, которая далѣе всего отошла отъ него. Такоеъ законъ природы и жизни, и несмотря на недѣльные и смѣшные формы въ которыхъ онъ иногда проявляется, только онъ обезпечиваетъ отъ застоя. Тамъ гдѣ невозможно движеніе впередъ, благодаря ли кастамъ дѣлающимъ невозможнымъ существенныя перемѣны въ общественномъ и экономическомъ

положеніи отдѣльныхъ лицъ, или благодаря искусственно устанавливаемому равенству всѣхъ, одинаково исчезаетъ одинъ изъ главныхъ мотивовъ человеческой дѣятельности.

„Наконецъ, пятое условіе счастья, говоритъ графъ Толстой, есть здоровье и безболѣзненная смерть.“ Это условіе, конечно, менѣе всѣхъ остальныхъ можетъ вызвать какія-либо сомнѣнія, такъ какъ безъ здоровья никакія блага въ жизни, конечно, никогда не могутъ доставить не только прочнаго счастья, но даже и краткаго удовольствія.

Разумѣется, тоже весьма желательно чтобы смерть была безболѣзненная, хотя и нѣсколько неожиданно встрѣтить ее въ числѣ условій земнаго счастья. Но и это условіе, какъ и другія по теоріи графа Толстаго сводятся къ первымъ двумъ, то-есть къ жизни въ деревнѣ и къ труду. Всѣ усовершенствованія цивилизаціи, комфорта, гигиеническихъ условій, по мнѣнію графа Толстаго, имѣютъ мало или почти никакого значенія. Такимъ образомъ, основаніемъ какъ личнаго счастья, такъ и

общественнаго благосостоянія остается трудъ, и трудъ преимущественно физическій, состоящій въ производствѣ предметовъ первой необходимости. Трудъ оказывается и первою обязанностью каждаго, и главнымъ условіемъ его собственнаго счастія.

„Что дѣлать? Что именно дѣлать?“ спрашиваютъ всѣ, и спрашивалъ и я, говорить графъ Толстой, до тѣхъ поръ пока, подѣ влияніемъ высокаго мнѣнія о своемъ призваніи, не видѣлъ того что первое и несомнѣнное дѣло мое было то чтобы кормиться, одѣваться, отопляться, обстраиваться и въ этомъ же самомъ служить другимъ, потому что съ тѣхъ поръ какъ существуетъ міръ, въ этомъ самомъ состояла и состоитъ первая и несомнѣнная обязанность всякаго человѣка.“

Физическій трудъ представляется графу Толстому не только средствомъ, но и цѣлью человѣческой жизни, и онъ иронически относится къ стремленію замѣнить его механическими приспособленіями.

„Въ Библии сказано какъ законъ че-

ловѣка“, замѣчаетъ онъ: „въ потѣ лица снѣси хлѣбъ, въ мукахъ родпши чада.“ Но „nous avons changé tout ça“, какъ говорятъ Мольеровское лицо, завравшись о медицинѣ, и сказавъ что печень на лѣвой сторонѣ. Мы все это перемѣнили. Людямъ не нужно работать чтобы кормиться, это все будутъ дѣлать машины, а женщинамъ не нужно рожать. Наука медицины научить различнымъ средствамъ, а народу и такъ слишкомъ много.

„По Крапивинскому уѣзду ходитъ оборванный мужикъ, онъ былъ во время войны закупщикомъ хлѣба у провіантскаго чиновника. Сблизившись съ чиновникомъ, увидавъ его сладкую жизнь, мужикъ сошелъ съ ума на томъ что и онъ, такъ же какъ господа, можетъ не работать, а получать слѣдующее ему содержаніе отъ Государя Императора. Мужикъ этотъ называетъ себя теперь свѣтлѣйшимъ военнымъ княземъ Блохнымъ, поставщикомъ всякаго провіанта всѣхъ сословій. Онъ говоритъ про себя что онъ „окончилъ всѣхъ чиновъ“ и по выслугѣ военного сословія,

долженъ получать отъ Государя Императора открытый банкъ, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горохъ и прислугъ и всякое продовольствіе. Человѣкъ этотъ смѣшонъ для многихъ, но для меня значеніе сумашествія его ужасно... Я всегда смотрю на этого человѣка какъ въ зеркало. Я вижу въ немъ себя и все наше сословіе. Окончить чиновъ, чтобы жить для разгулки времени и получать открытый банкъ, между тѣмъ какъ крестьяне для которыхъ это не затруднительно, повывдумкѣ машинъ, управляютъ всѣ дѣла. Это полная формуловка безумной вѣры людей нашего круга.“

Обычный взглядъ на трудъ (не отличающійся и отъ библейскаго) состоитъ въ томъ что трудъ есть средство существованія. Для того чтобы жить надо питаться, а для того чтобъ ѣсть надо трудиться, такова естественная и логическая связь между трудомъ и жизнью. Какое значеніе имѣетъ сама жизнь? Это вопросъ рѣшающійся различно въ разныхъ религіозныхъ и философскихъ міровозрѣніяхъ, но если признана необходимость жизни, тѣмъ самымъ опре-

дѣляется и отношеніе къ ней физическаго труда. Будетъ ли цѣль жизни—одно наслажденіе, или нравственная обязанность, или стремленіе къ искупленію, трудъ во всякомъ случаѣ является однимъ изъ звеньевъ въ цѣпи средствъ ведущихъ къ достиженію этой цѣли. Совсѣмъ иначе выходитъ дѣло у графа Толстаго. По его мнѣнію, „дѣло въ томъ чтобъ отвыкнуть отъ того преступнаго взгляда на жизнь что я ѣмъ и сплю для своего удовольствія, и усвоить себѣ тотъ простой и правдивый взглядъ съ которымъ вырастаетъ и живетъ рабочій человѣкъ что человѣкъ прежде всего есть машина, которая заряжается ѣдой для того чтобы кормиться и что потому стыдно, тяжело, нельзя ѣсть и не работать, что ѣсть и не работать это самое безбожное, противоестественное и потому опасное положеніе, въ родъ содомскаго грѣха. Достоинство человѣка, его священный долгъ и обязанность употреблять данныя ему руки и ноги на то для чего онъ данъ и поглощаемую пищу на трудъ производящій эту пищу.“

Такимъ образомъ получается кругъ: человекъ долженъ работать чтобы кормиться и долженъ кормиться чтобы работать. Онъ превращается дѣйствительно во что-то похожее на паровую машину черпающую воду которая, обращаясь въ пары, приводитъ ее въ движеніе. Разница только въ томъ что паровая машина производитъ еще другую работу, которая и есть ея настоящая цѣль, а человѣческая машина питается для того чтобъ имѣть возможность работать, и работаетъ чтобъ имѣть возможность питаться.

Теорія эта невольно напоминаетъ матеріалистическій афоризмъ что человекъ есть то что онъ ѣстъ (*Der Mensch ist was es isst*). Графъ Толстой выходитъ, конечно, изъ другой точки зрѣнія. Но если сущность и цѣль человѣческой жизни состоятъ въ томъ чтобы работать и питаться продуктами этой работы, то несомнѣнно оказывается что онъ въ сущности есть только то что онъ ѣстъ.

Физическій трудъ почти всѣми людьми разсматривается какъ необходимость; въ

Библии онъ является послѣдствіемъ грѣхопаденія; но на этотъ разъ графъ Толстой, самъ вступая въ полемику съ Моисеемъ, хочетъ переимѣнить все это и доказать что трудъ есть не только средство, но и цѣль жизни.

Однако нѣтъ ли здѣсь недоразумѣнія? То ли самое называется трудомъ графъ Толстой что мы привыкли называть этимъ именемъ? Понятіе труда весьма широко и разнообразно, и потому не легко дать ему сколько-нибудь точное опредѣленіе.

Не всякое движеніе или усиліе есть трудъ, какъ бы ни было велико усиліе и напряженіе, и то же самое дѣйствіе которое составляетъ трудъ для одного, можетъ быть забавой для другаго: почтальонъ, который разноситъ письма, трудится, пріятель который отправился бы съ нимъ, чтобы поговорить съ нимъ, хотя бы они обошли вмѣстѣ тѣ же дома, гуляетъ. Форрейторъ который ѣдетъ верхомъ трудится, кавалькада которая ѣдетъ съ нимъ рядомъ — катается.

Такимъ образомъ отличительный признакъ труда состоитъ не въ усиліи фи-

зическомъ или умственномъ, которое онъ предполагаетъ, а въ цѣли и результатахъ этого усилія. Правда что трудъ можетъ быть непроеводительнымъ и все-таки оставаться трудомъ; но это только потому что или самъ трудящійся или заставляющій трудиться предполагаютъ что въ результатъ труда будетъ нѣчто такое чего въ дѣйствительности нѣтъ.

Если же трудъ исполняется не ради того что получается или должно бы получиться, то сразу исчезаетъ различіе между трудомъ и забавой, потому что отличительный признакъ игры или забавы состоитъ именно въ томъ что она предпринимается не ради результата, а ради самого процесса.

И наоборотъ, даже то что обыкновенно считается забавой, какъ только оно перестаетъ быть цѣлью, а становится средствомъ для достиженія другаго результата, превращается въ трудъ. Такъ для маркера игра на билліардѣ уже не игра, а работа.

Цѣли умственного труда настолько разнообразны что трудно подвести ихъ подъ одну категорію. Трудится и уче-

ный рѣшающій астрономическую задачу, и докторъ изслѣдующій больного, и судья разбирающій сложное дѣло, и композиторъ пишущій симфонію или оперу. Цѣль труда физическаго почти всегда одна, а именно доставить пищу, одежду, жилище и т. п., или деньги, какъ представители всего этого, словомъ, средства матеріальнаго существованія. Умственный трудъ можетъ быть направленъ на ту же самую цѣль, но цѣль эта не есть единственная возможная для него.

Такимъ образомъ одинаково и съ тою же цѣлію работаетъ и пахарь, чтобы получить хлѣбъ которымъ онъ будетъ питаться, и кузнецъ или почталіонъ, которые продаютъ свой трудъ чтобы купить этотъ хлѣбъ.

Физическій трудъ оказывается средствомъ для удовлетворенія или прямо чрезъ этотъ трудъ, или косвенно, посредствомъ денегъ, тѣхъ или другихъ потребностей. Гдѣ нѣтъ потребностей къ удовлетворенію которыхъ стремится человѣкъ, тамъ исчезаетъ и цѣль физическаго труда. Въ тропическихъ странахъ, гдѣ природа сама даетъ пропитанье людямъ,

пока пропитанье это достаточно, люди не заботятся объ обработкѣ земель.

Правда что только въ рѣдкихъ случаяхъ человѣкъ можетъ безъ труда добыть средства пропитанья, но за то мы видимъ что вездѣ онъ старается по возможности сократить этотъ трудъ. Самое раздѣленіе труда имѣеть однимъ изъ первыхъ основаній своихъ его сокращеніе, потому что, благодаря обмѣну произведеній, они распредѣляются такъ же какъ еслибы каждый ихъ дѣлалъ самъ для себя, а благодаря спеціализаціи и вытекающимъ изъ нея приспособленіямъ и привычкамъ, количества времени и труда употребляемыхъ на ихъ производство оказываются значительно меньше.

Совершенно иначе смотреть на дѣло графъ Толстой: „Человѣкъ считающій трудъ дѣломъ и радостью своей жизни не будетъ искать облегченья своего труда, которое ему могутъ дать труды другихъ; человѣкъ считающій жизнь трудомъ будетъ ставить себѣ цѣлью, по мѣрѣ пріобрѣтенія умѣнія, ловкости и выносливости, все большій и большій трудъ, все болѣе и болѣе наполняющій

его жизнь. Для такого человека, полагающего смысл своей жизни въ трудѣ, а не въ результатахъ его, для пріобрѣтенія собственности не можетъ быть и вопроса объ орудіяхъ труда. Хотя такой человекъ и изберетъ всегда орудія наиболѣе производительныя, человекъ этотъ получитъ то же удовлетвореніе работы и отдыха, работая и самымъ непроизводительнымъ орудіемъ.“

Въ доказательство цѣлесообразности и необходимости физическаго труда для всѣхъ людей, графъ Толстой приводитъ собственный примѣръ:

„На вопросъ что нужно дѣлать—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего что мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все что я могу самъ сдѣлать. На вопросъ не странно ли это будетъ предъ людьми дѣлавшими это? оказалось что странность эта продолжалась только недѣлю, а послѣ недѣли сдѣлалось бы страннымъ еслибъ я возвратился къ прежнимъ условіямъ. На вопросъ нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ

на землѣ? оказалось что все это ненужно, что трудъ, если онъ имѣетъ своею цѣлью не пріобрѣтеніе возможности праздности и пользованія чужимъ трудомъ, каковъ трудъ наживающихъ деньги людей, а имѣетъ цѣлью удовлетвореніе потребностей, самъ собою влечетъ изъ города въ деревню къ землѣ, туда гдѣ трудъ этотъ самый плодотворный и радостный. Сообщничества же не нужно было никакого составлять, потому что человѣкъ трудящійся самъ собою естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты сомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный.

„Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномерно усиливалась, освобождаясь ото всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось что отдавъ на физическій трудъ восемь ча-

совъ, ту половину дня которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ условіяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ, изъ которыхъ мнѣ нужно было, по моимъ условіямъ, только пять для умственного труда; оказалось что еслибъ я, весьма плодовитый писатель 40 почти лѣтъ, ничего не дѣлавшій кромѣ писанія и написавшій триста листовъ печатныхъ; еслибъ я работалъ всѣ эти сорокъ лѣтъ рядовую работу съ рабочимъ народомъ, то, не считая зимнихъ вечеровъ и гудевыхъ дней, еслибъ я читалъ и учился въ продолженіе пяти часовъ каждый день и писалъ бы по однимъ праздникамъ по двѣ страницы въ день (а я писывалъ по листу печатному въ день), то я написалъ бы тѣ же триста листовъ въ 14 лѣтъ. Оказалось удивительное дѣло: самый простой арифметическій расчетъ, который можетъ сдѣлать 7лѣтній мальчикъ и котораго я до сихъ поръ не могъ сдѣлать. Въ суткахъ 24 часа; спимъ мы 8 часовъ; остается — 16. Если какой бы то ни было человѣкъ умственной дѣятельности посвятить на

свою дѣятельность пять часовъ каждый день, то онъ сдѣлаетъ страшно много. Куда же дѣваются остальные 11 часовъ?"

Странно что самая простота этого ариѳметическаго разчета не навела графа Толстаго на нѣкоторыя сомнѣнія. Какъ объяснить въ самомъ дѣлѣ что люди умственной дѣятельности, которыхъ нельзя обвинить въ лѣни, такіе люди какъ Декартъ, Лейбницъ, Кантъ, Ломоносовъ, употребляя все свое время (а не пять часовъ), иногда даже урѣзывая его у сна, не находятъ чтобы можно было сдѣлать страшно много, а жалуются на его недостатокъ?

Но не говоря о такихъ величинахъ которыя двигаютъ впередъ человѣчество, самая скромная, добросовѣстная умственная дѣятельность: профессора, учителя, судьи и т. п. поглощаетъ почти все его время, а главное—все его вниманіе и силы, такъ что онъ, окончивъ ее, можетъ думать никакъ не о новой работѣ, а только объ отдыхѣ. Правда что физическій трудъ можетъ явиться отдыхомъ отъ умственнаго, но въ такомъ случаѣ на него и смотрѣть слѣ-

дуетъ какъ на отдыхъ или на забаву, пріятную и даже полезную, а не какъ на обязательный трудъ. Что касается арифметическаго разчета, то въ него вкратились двѣ существенныя ошибки въ данныхъ. Вопервыхъ, ни одинъ умственный работникъ не можетъ ограничиться пятью часами работы. Мы говоримъ объ умственной *работѣ*, а не о художественномъ творествѣ, гдѣ минуты яснаго созерцанія и вдохновенія значать больше чѣмъ годы упорнаго труда. Уже съ десяти лѣтъ до двадцати или до двадцати пяти, только приготавливаясь къ умственному труду, ребенокъ и юношѣ приходится работать по восьми и по десяти часовъ въ день.

Другая ошибка графа Толстаго состоитъ въ томъ что онъ пытается умственную дѣятельность вымѣрить, какъ десятины или пуды. Дѣятельность мысли требуетъ различныхъ условій, смотря по характеру, организму, привычкамъ человѣка: то что у одного усиливаетъ энергію, совершенно парализуетъ ее у другого.

Но физическій трудъ, если только это

дѣйствительно трудъ, а не отдыхъ, и соединенъ съ усталостью почти всегда дѣлаетъ неспособнымъ къ сколько-нибудь напряженной умственной дѣятельности. Совершенно иное дѣло если мы будемъ смотрѣть на него какъ на движеніе возбуждающее аппетитъ, усиливающее кровообращеніе и вообще полезное въ гигиеническомъ отношеніи, только тогда онъ теряетъ значеніе нравственной обязанности и обращается въ своего рода моціонъ, такъ же какъ гребля, верховая ѣзда или фехтованіе; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ имѣетъ даже преимущество, такъ какъ онъ менѣе однообразенъ и присутствіе цѣли, какъ бы она ни была незначительна, придаетъ ему нѣкоторый интересъ.

Если человѣкъ посредствомъ нѣкакого способа можетъ достигнуть опредѣленнаго результата, но предпочитаетъ другой способъ, посредствомъ котораго получается однородный, но меньшей результатъ, мы имѣемъ основаніе предположить что этотъ второй способъ для него если не простая забава, то по

крайней мѣрѣ трудъ несравненно болѣе легкій. Если музыкантъ или писатель имѣющій возможность заработать въ часъ нѣсколько рублей или нѣсколько десятковъ рублей предпочитаетъ заняться кузнечнымъ или столярнымъ ремесломъ, мы въ правѣ думать что для него важенъ не столько результатъ, сколько самый процессъ работы, и что ремесло для него не столько трудъ, сколько забава.

Вотъ почему какъ бы серьезно ни относились люди способные къ умственному труду къ своей физической работѣ и какъ бы ни старались слиться съ народомъ, окружающіе чувствуютъ что тутъ что-то не то, и имъ все кажется что „баринъ“ не работаетъ, а просто чудить. По той же причинѣ не удаются даже совершенно искреннія попытки опроститься, ходить въ народъ и слиться съ нимъ. Рыба ищетъ гдѣ глубже, а человекъ гдѣ лучше, и никогда крестьянинъ не пойметъ чтобы человекъ который можетъ зарабатывать хоть 20 или 30 р., какъ волостной писарь, предпочелъ пахать землю, потому только что физическій

трудъ есть священный долгъ всякаго и что жизнь пахаря ближе къ природѣ. Но мало того что онъ не пойметъ и не признаетъ подобной обязанности, онъ будетъ правъ.

Возьмемъ примѣръ челоуѣка семейнаго: его обязанность, по мнѣнію графа Толстаго, такъ же какъ и всѣхъ людей, состоитъ въ томъ чтобы трудомъ своимъ (по крайней мѣрѣ, когда у него нѣтъ другихъ средствъ) обезпечить не только собственное существованіе, но и существованіе всей семьи. Положимъ, челоуѣкъ этотъ можетъ и умѣетъ пахать и умѣетъ также писать толково и красивымъ почеркомъ. Первое изъ этихъ занятій можетъ дать ему отъ 30 — 50 копѣекъ въ день, второе отъ рубля до двухъ, не ясно ли что, выбравъ первое, онъ не обезпечитъ существованія семьи и потому *обязанъ* выбрать второе. Но по теоріи гр. Толстаго можно соединить то и другое; едва ли это такъ въ дѣйствительности; вопервыхъ, если онъ станетъ пахать по восьми часовъ въ день, то, не говоря о чемъ другомъ, вѣроятно, самый почеркъ его измѣнится

не къ лучшему; но, кромѣ того, получится слѣдующій ариѳметическій результатъ: каждый часъ употребляемый имъ на переписку бумагъ приносить отъ 15 до 20 копѣекъ, а каждый часъ употребляемый на пашню отъ 3 до 5, такимъ образомъ каждый часъ переписки замѣняемый пашней дастъ минусъ отъ 10 до 15 копѣекъ, которыя, вмѣсто того чтобъ идти на обезпеченіе семьи и собственнаго существованія, останутся не заработанными, потому что онъ предпочтетъ тотъ или другой видъ труда, который тѣмъ самымъ, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія посторонняго человека, превратится въ забаву.

Итакъ, краеугольный камень нравственнаго ученія гр. Толстаго—обязанность каждаго трудиться непременно физическимъ трудомъ, оказывается не въ состояніи вынести того груза который на него налагается.

Все то что говоритъ гр. Толстой о жизни въ деревнѣ и общеніи съ природой, о необходимости физическаго труда, или, точнѣе, движенія въ значительной мѣрѣ справедливо съ точки

зрѣнія гигиѣны и личнаго спокойствія; но нельзя возводить совѣты практической мудрости въ нравственный законъ, обязательный для каждаго; тѣмъ болѣе что справедливость этихъ совѣтовъ въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ личнаго характера и способностей.

VII.

Графъ Л. Н. Толстой и Ж.-Ж. Руссо; тождество ихъ основныхъ положеній.—Утилитарное отношеніе къ наукамъ и искусствамъ; цивилизація какъ источникъ неравенства.—Отрицательное отношеніе къ собственности.—Противорѣчіе между теоріей графа Толстаго и его творчествомъ.

Если мы захотимъ въ нѣсколькихъ словахъ выразить сущность нравственнаго ученія графа Толстаго, мы увидимъ что оно сводится къ требованію жить какъ можно проще, какъ можно ближе къ природѣ; при этомъ предполагается, конечно, что по природѣ своей человѣкъ склоненъ къ добру и что внѣшнія условія (государственныя и общественныя правила, законы, учрежденія) не улучшаютъ, а искажаютъ природу.

Тезисъ этотъ не новость въ исторіи философіи и самымъ яркимъ представителемъ его является Ж. - Ж. Руссо. Чтобъ убѣдиться въ томъ насколько міровоззрѣнія Руссо и графа Толстаго

близки между собой, стоить только прочесть статью о *Назначеніи науки и искусства* и увѣнчанную въ 1750 году Дижонскою академіей рѣчь о томъ: „Содѣйствовало ли возстановленіе наукъ и искусствъ очищенію нравовъ?“ На статью *О назначеніи науки и искусства* я уже не разъ ссыался выше, а теперь позволю себѣ привести нѣкоторыя мѣста изъ рѣчи Руссо.

Описавъ привлекательность внѣшней стороны своего времени и своей среды, Руссо замѣчаетъ: „Какъ сладко было бы жить посреди насъ, еслибы внѣшность служила всегда выраженіемъ сердечнаго расположенія, еслибы приличіе было добродѣтелью, еслибы наши правила дѣйствительно руководили нами; еслибы истинная философія была неразрывна съ названіемъ философа. Но столько качествъ рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ; и добродѣтель никогда не является такъ торжественно. Роскошь въ нарядѣ можетъ указывать на богатство, а изящество на вкусъ человѣка: но человѣкъ здоровый и сильный узнается по другимъ примѣтамъ. Подъ дере-

венскою одеждой пахаря, а не подъ позолотой придворнаго можно найти тѣлесное здоровье и силу. Не менѣе чужда нарядовъ и добродѣтель — это здоровье и сила душевныя. Человѣкъ добродѣтельный есть атлетъ который любитъ сражаться нагимъ: онъ презираетъ всѣ ничтожныя украшенія, которыя помѣшали бы ему развернуть свои силы и бѣольшая часть которыхъ придумана только для того чтобы скрыть то или другое уродство.“

„Иностранецъ житель какого-нибудь отдаленнаго края, еслибы захотѣлъ составить себѣ понятіе объ европейскихъ нравахъ на основаніи состоянія наукъ, совершенства нашего искусства, приличія нашихъ зрѣлищъ, вѣжливости нашихъ манеръ, любезности нашихъ рѣчей, постоянныхъ проявленій доброжелательства и стеченія толпы людей всѣхъ возрастовъ и состояній, которые повидимому съ восхода до заката солнца спѣшати взаимно услужить другъ другу,—такой иностранецъ сдѣлалъ бы о нашихъ нравахъ догадку прямо противоположную дѣйствительности.“

„Гдѣ нѣтъ дѣйствія, тамъ не зачѣмъ искать и причины, но здѣсь дѣйствіе несомнѣнно и упадокъ налицо, души наши развращались по мѣрѣ того какъ наши науки и искусства двигались къ совершенству.“

„Ежедневныя повышенія и пониженія водъ Океана не болѣе правильно связаны съ теченіемъ ночнаго свѣтила, чѣмъ судьба нравовъ и честности съ успѣхомъ наукъ и искусствъ. Добродѣтель видимо бѣжала по мѣрѣ того какъ свѣтъ ихъ возрасталъ надъ нашимъ горизонтомъ, и то же явленіе замѣчалось всегда и вездѣ.“

„Есть древнее преданіе перешедшее изъ Египта въ Грецію, что богъ враждебный спокойствію людей изобрѣлъ науки. Какое же мнѣніе должны были имѣть о нихъ сами Египтяне у которыхъ онѣ родились? Дѣло въ томъ что они близко видѣли породившіе ихъ источники.“

„Въ самомъ дѣлѣ, будемъ ли мы перелистывать всемірную лѣтопись или замѣнимъ недостовѣрную хронику философическими изслѣдованіями, мы не най-

демъ у человѣческихъ знаній происхожденія, соответствующаго той идее, которую охотно составляютъ себѣ о немъ. Астрономія родилась изъ предразсудка, краснорѣчіе изъ честолюбія, ненависти, лести и лжи, геометрія изъ скупости, физика изъ празднаго любопытства, все, даже мораль, изъ человѣческой гордости. Значитъ и наука и искусство своимъ возникновеніемъ обязаны нашимъ порокамъ: мы бы менѣе сомнѣвались въ ихъ пользѣ еслибъ онѣ были обязаны имъ добродѣтели.“

„Какъ унизительны для человѣчества эти размышленія! Какъ? Честность есть дочь незнанія? Науки и добродѣтель несовмѣстимы? Какихъ заключеній нельзя вывести изъ такихъ предпосылокъ! Но для того чтобы согласить эти кажушіяся противорѣчія стоить только поближе рассмотреть пустоту и ничтожество великолѣпныхъ наименованій ослѣпляющихъ насъ, и которыя мы такъ напрасно приписываемъ человѣческимъ знаніямъ.“

Этимъ скептическимъ отношеніемъ къ самостоятельному значенію науки и ис-

кусства не исчерпывается сходство между взглядами Руссо и графа Толстаго; одинаково отрицательно оба они относятся и къ ихъ практическимъ результатамъ.

„Если науки наши суетны по самому предмету своему, говоритъ Руссо, то онѣ еще болѣе опасны по тѣмъ результатамъ которые вызываются ими. Рожденныя въ праздности, онѣ въ свою очередь питаютъ ее, и непоправимая потеря времени есть первый ущербъ неизбежно наносимый ими обществу. Въ политикѣ, такъ же какъ и въ нравственности, великое зло не дѣлать добра; и каждый бесполезный гражданинъ можетъ разсматриваться, какъ человѣкъ вредный. Отвѣйте же мнѣ, славные философы, вы, благодаря которымъ мы знаемъ въ какой пропорціи тѣла притягиваются въ пустотѣ, какъ вращаются планеты, какое отношеніе моментовъ пройденныхъ въ равное время, какія кривыя имѣютъ точки сопряженія, точки склоненія и возвращенія, какъ человѣкъ все видитъ въ Богѣ, какъ душа и тѣло другъ другу

соотвѣтствуютъ не будучи связаны, подобно двумъ часамъ, какія свѣтила могутъ быть обптаемы; какія насѣкомыя раждаются необычайнымъ образомъ: отвѣтьте мнѣ, говорю я, вы отъ кого мы получили столько высшихъ познаній: еслибы вы насъ никогда ничему не научили изъ всего этого, были ли бы мы менѣе многочисленны, хуже ли управлялись бы, или стали бы менѣе грозны, менѣе цвѣтущи, или болѣе развратны? Не кичитесь же важностью вашихъ произведеній, и если работы самыхъ просвѣщенныхъ изъ вашихъ ученыхъ и лучшихъ изъ вашихъ гражданъ приносятъ намъ такъ мало пользы, скажите намъ что намъ думать объ этой кучѣ темныхъ писателей и праздныхъ образованныхъ людей, которые совершенно безплодно попраютъ достоинствѣ государства“?

„Потеря времени великое зло, но другія худшія сопровождаютъ науки и искусства. Такова роскошь рожденная въ праздности и тщеславіи людей. Роскошь рѣдко встрѣчается безъ наукъ и искусствъ, а опѣ никогда не встрѣ-

чаются безъ нея. Я знаю что философія наша, всегда обильная странными положеніями, утверждаетъ, вопреки опыту всѣхъ вѣковъ, что роскошь составляетъ блескъ государствъ; но забывъ необходимость сумптуарныхъ законовъ посмѣетъ ли она отрицать и то, что добрые нравы существенны для прочности государствъ, и что роскошь диаметрально противоположна добрымъ нравамъ“?

Отсюда ясно что для Руссо, такъ же какъ и для графа Толстаго, техническія знанія только пособіе для роскоши развращающей нравы, а чистое знаніе и искусство—праздная забава.

Такъ же какъ и графъ Толстой, главный источникъ неравенства онъ видитъ въ государственныхъ и общественныхъ условіяхъ. „Легко убѣдиться, говоритъ онъ, что многія изъ особенностей различающихъ людей считаются естественными, хотя они составляютъ исключительно продуктъ привычки и различія въ образѣ жизни принятомъ людьми въ обществѣ“. По мнѣнію Руссо, это относится одинаково и къ физической и къ умствен-

ной природѣ человѣка. „Неравенство едва чувствительно въ естественномъ состояніи и вліяніе его тамъ ничтожно, но оно возрастаетъ съ каждымъ шагомъ на пути культуры, потому что „если великанъ и карликъ пойдутъ одною дорогою, каждый шагъ ихъ будетъ давать новое преимущество великану“.

Замѣчаніе это совершенно справедливо и не нужно даже такой первоначальной разницы какъ между великаномъ и карликомъ, чтобы въ концѣ дороги одному изъ спутниковъ удалось значительно обогнать другаго. Но это только при томъ условіи чтобы первоначальное различіе между ними сохранялось въ теченіе всего пути. А едва ли возможно указать на что-либо подобное въ исторіи цивилизаціи.

„Первый кто огородилъ землю и вздумалъ сказать: *это мое* и нашелъ людей довольно простодушныхъ чтобы повѣрить ему, былъ истиннымъ основателемъ гражданскаго общества. Отъ сколькихъ преступленій, сколькихъ войнъ и убійствъ, отъ сколькихъ бѣдствій и ужасовъ избавилъ бы родъ человѣческій

тотъ кто, вырвавъ колья и зарывъ канаву, закричалъ бы себѣ подобнымъ: Берегитесь слушаться этого обманщика; вы погибли если забудете что плоды принадлежать всѣмъ, а земля никому!“

„Но, замѣчаетъ Руссо, весьма вѣроятно что тогда уже положеніе вещей было таково что не могло продолжаться долѣе“.

Здѣсь кончается сходство между Руссо и графомъ Толстымъ, оба признають существующій порядокъ вещей несправедливымъ и ненормальнымъ; но Руссо старается объяснить его возникновеніе и придумать нѣчто другое что бы могло замѣнить его; графу Толстому кажется достаточнымъ исчезновеніе этого порядка, чтобы все устроилось само собою.

Руссо для идеальнаго государства придумываетъ фикцію общественнаго договора и заставляетъ служить свою фантазію то для того чтобы возстановить жизнь первобытныхъ людей, то для того чтобы представить себѣ идеальнаго воспитателя, воспитанника или священника Но сквозь романическую фэр-

му его произведеній и ихъ риторическія прикрасы то и дѣло проглядываетъ скелетъ отвлеченной мысли. Совершенно обратное видимъ мы у графа Толстаго, даже тамъ гдѣ онъ хочетъ быть только логиченъ сами собою являются краски и образы, и художникъ то и дѣло заслоняетъ мыслителя. Художникъ настолько преобладаетъ въ графѣ Толстомъ что даже чисто философскія мысли, когда онѣ выражаются имъ въ беллетристической формѣ, не проигрываютъ, а скорѣе выигрываютъ и въ яркости и въ точности.

Сравните, напримѣръ, размышленія Левина, съ философскими статьями графа Толстаго, и вы ясно убѣдитесь въ этомъ. То положеніе въ которое поставлены дѣйствующія лица дѣлаетъ вполне понятнымъ, правдивымъ и реальнымъ то что они думаютъ, здѣсь нужна не абсолютная, не метафизическая истина, а правда художественная и психологическая, и мы не можемъ не видѣть и не понять ея въ этихъ образахъ. Въ теоретическихъ статьяхъ гр. Толстаго, наоборотъ, сквозь мнимую от-

влеченность и логичность его положеній то и дѣло проглядываетъ субъективное настроеніе.

Графъ Толстой даже и не старается быть спокойнымъ и объективнымъ. „Мыслитель и художникъ никогда не будутъ спокойно сидѣть на Олимпійскихъ высотахъ, какъ мы привыкли воображать. Мыслитель и художникъ долженъ страдать вмѣстѣ съ людьми для того чтобы найти спасеніе и утѣшеніе“.

Что мыслители и художники должны часто страдать больше другихъ, это совершенно справедливо и обуславливается большою чувствительностью ихъ темперамента; но чтобъ ихъ произведенія и выводы должны были быть результатомъ именно этихъ страданій, нельзя утверждать безъ явной натяжки: это все равно что утверждать что судья чтобы постановить справедливый приговоръ долженъ негодовать на преступника или жалѣть о немъ, или хирургъ, чтобы хорошо сдѣлать операцію, долженъ страдать вмѣстѣ съ больнымъ.

Только тогда когда страданіе, любовь, вообще какія бы то ни было движенія

человѣческаго духа пережиты и онъ можетъ относиться къ нимъ спокойно, только тогда возможно и для художника и для мыслителя ихъ объективное воспроизведение и ихъ безпристрастная оцѣнка.

Нужны ли нѣтъ для человѣчества науки и искусства—это вопросъ о которомъ можно спорить, какъ это и дѣлаютъ Руссо и графъ Толстой; но несомнѣнно что онѣ возможны только тамъ гдѣ заботы и злоба дня не поглощаютъ всего человѣка.

Цѣль науки составляютъ отвлеченныя истины, цѣль искусства художественная правда и красота; можно находить что ни отвлеченныя истины, ни красота не улучшаютъ удѣлъ человѣчества, но нельзя навязывать ученому и художнику еще другихъ цѣлей, потому что цѣли эти могутъ быть несовмѣстимы.

Научная истина можетъ быть полезна, но не потому что при изысканіи ея явилась въ виду практическая польза, а потому что она есть *истина*, на прочномъ основаніи которой можно строить какіе угодно практическіе выводы. Наоборотъ, какъ только въ научное из-

слѣдованіе вносится вопросъ о тѣхъ или другихъ нравственныхъ или практическихъ результатахъ, оно становится тенденціознымъ, и вмѣсто точныхъ научныхъ положеній получаютъ фантастическія гипотезы, все равно будутъ ли онѣ относиться къ изысканію философскаго камня, или къ изслѣдованію нравственнаго или общественнаго вопроса.

Художественное произведеніе доставляетъ эстетическое наслажденіе не потому что художникъ хотѣлъ доставить удовольствіе зрителямъ или слушателямъ, а потому что оно красиво. Только тотъ художникъ, который, по крайней мѣрѣ во время творчества, совершенно забываетъ о публикѣ чтобы погрузиться въ созерцаніе предмета, въ состояніи создать нѣчто крупное.

Въ этомъ заключается отвѣтъ на вопросъ графа Толстаго: „Отчего бы, казалось, людямъ искусства не служить народу? Вѣдь въ каждой избѣ есть образъ, картины, каждый мужикъ, каждая баба поютъ; у многихъ есть гармоніи и всѣ разказываютъ исторіи, стихи и

читаютъ многіе. Какъ же такъ разошлись двѣ вещи—сдѣланныя одна для другой, какъ ключъ и замокъ,—разошлись такъ что не представляется даже возможности соединенія? Скажите живописцу чтобъ онъ писалъ безъ студіи, натуры костюмовъ, и рисовалъ бы пятикопѣечныя картинки; онъ скажетъ что это значитъ отказаться отъ искусства, какъ онъ понимаетъ его. Скажите музыканту чтобъ онъ игралъ на гармоніи и училъ бы бабъ пѣть пѣсни; скажите поэту-сочинителю чтобъ онъ бросилъ свои поэмы и романы, и сочинялъ пѣсеняшки, исторіи, сказки понятныя безграмотнымъ людямъ; они скажутъ что вы сумашедшій.“

Какъ бы ни было желательно распространеніе въ народѣ науки и искусства, для этого необходимо чтобы существовали истинная наука и истинное искусство, а погоня за общедоступностію научныхъ и художественныхъ произведеній, хотя бы она исходила изъ совершенно чуждыхъ и безкорыстныхъ мотивовъ, по результатамъ своимъ ничѣмъ не отличается отъ погони за популяр-

ностію, и еслибы, чего избави Боже, художники увлеклись проповѣдью графа Толстаго, это неизбѣжно повлекло бы къ огрубенію и опошленію искусства.

Еслибы жизнь человѣческая исчерпывалась матеріальными ея проявленіями, взглядъ графа Толстаго на науки и искусство имѣлъ бы достаточное основаніе, тогда единственнымъ серіознымъ дѣломъ было бы то что поддерживаетъ эту матеріальную жизнь, то-есть физическій трудъ, а науки и искусства имѣли бы смыслъ лишь настолько, насколько содѣйствуютъ ему или служатъ отъ него отдыхомъ.

Но для того кто признаетъ что матеріальная жизнь есть не цѣль, а только почва, и необходимое условіе жизни духовной, истина и красота не могутъ имѣть значенія средствъ для улучшенія, сна или пищеваренія, хотя бы и не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлыхъ народныхъ массъ.

Какъ бы высоко мы ни цѣнили значеніе физическаго труда и матеріальной благотворительности, мы не должны забывать что не о единомъ хлѣбѣ живъ

будеть человѣкъ. Только съ точки зрѣнія узкаго матеріализма можно послѣдовательно провести тотъ взглядъ на науку и искусство, который пытается отстаивать въ своихъ послѣднихъ статьяхъ графъ Толстой, но *Война и Миръ* или *Анна Каренина* навсегда останутся достаточнымъ опроверженіемъ его теоріи.

Duke University Library
**KEEP THIS SLIP IN THIS
POCKET**
form 337 100M 4-53

This book is due on the
date stamped below
Penalty for later return:
5c per day

38965 MAR 29 54

FAC

891.73

T654ZT

583969

D02367018R



Duke University Libraries